

Литературное наследие Еврейской автономной области

Выпуск 2



Биробиджан
1999 г.

Посвящается 65-летию
Еврейской автономной области

**Литературное
наследие
Еврейской
автономной области**

Выпуск 2
Проза, поэзия

Биробиджан, 1999

Посвящается 65-летию
Еврейской автономной области

Редактор-составитель Кудиш Ефим Иосифович

Учреждение культуры

населения

Еврейской

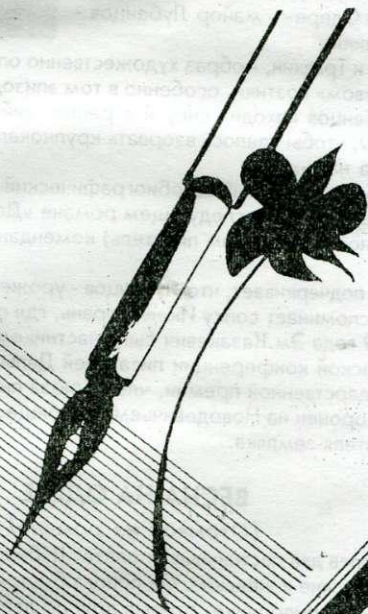
автономной области

Выпуск 2

Проза, поэзия

Владивосток, 1999

Проза



Эммануил Казакевич (1913-1962)

Родился в 1913г. в г.Кременчуг на Украине. С первым эшелонном переселенцев в апреле 1928 года приехал на ст.Тихонькая. Был литературным сотрудником в газете «Биробиджанер штерн», первым директором Биробиджанского Государственного еврейского театра. В 1930г. выходит его первый поэтический сборник «Биробиджанстрой». Следом вышел второй сборник - «Большой мир».

Эммануил Казакевич - участник Великой Отечественной войны, автор повести «Звезда», романа «Весна на Оudere». Автор приобщает к бессмертию тех, кто погиб во имя жизни и долга, и горюет о каждом погибшем - о погубленном человеческом богатстве.

Герои повести «Звезда» - капитан Травкин, романа «Весна на Оudere» - майор Лубенцов - офицеры-разведчики.

Лубенцов, как и Травкин, - образ художественно опозитизированный, отмеченный «вмешательством» поэтики, особенно в том эпизоде, где раненый, попавший в окружение Лубенцов находит силу и в решающий момент переодевается в немецкую одежду, чтобы удалось взорвать крупнокалиберный пулемет, мешавший продвижению наших.

Пожалуй, Лубенцов - самый автобиографический герой Казакевича: не случайно он станет героем и в последующем романе «Дом на площади», где будет исполнять обязанности (как и сам писатель) коменданта небольшого немецкого городка.

Эм.Казакевич подчеркивает, что Лубенцов - уроженец села Волочаевка, который с трепетом вспоминает сопку Июнь-Корань, где прошло его детство.

В ноябре 1949 года Эм.Казакевич был участником первой Хабаровской послевоенной творческой конференции писателей Дальнего Востока.

Лауреат Государственной премии, член Союза писателей с 1940 года. Умер в 1962 году и похоронен на Новодевичьем кладбище. Одна из улиц Биробиджана носит имя писателя-земляка.



ВЕСНА НА ОУДЕРЕ

(Отрывок из романа)

С трудом одолев два лестничных пролета, Лубенцов услышал внизу, под собой, голоса — мужские и женские. Он пополз быстрее, открыл какую-то дверь, очутился в темном коридорчике, открыл другую дверь. Перед ним была улица. То есть была комната как комната - с диваном, письменным столом, шифоньером, шкафом и стульями и даже с картинами на стенах. А дальше была улица, одинокое дерево и стоящий напротив разрушенный многоэтажный дом.

Передней стены в комнате не оказалось. На полу и на мебели лежали обломки кирпича и толстый слой пыли. Лубенцов впольз в это странное подобие

жилья, как актер выходит на сцену.

Комната была почти невредима. Стена обрушилась не от попадания снаряда, а от воздушной волны.

Из дома напротив тянуло сладковатым трупным запахом. Далекие вспышки ракет время от времени освещали развалины, узоры комнатных обоев, фотографии пожилых немцев и немки над письменным столом и голую женщину на картине, висящей над диваном.

Лубенцов подполз к краю и выглянул на улицу. Он находился на первом этаже. Внизу виднелись заложенные мешками с песком окна полуподвала. Напротив проходила каменная ограда, прилегающая к разрушенному дому, на сохранившейся боковой стене которого была нарисована огромная реклама обувной фирмы "Salamander" — гигантская женская нога в туфле. Внутренности дома лежали в каменном скелете в виде огромной, доходящей до второго этажа кучи обломков с торчащими из нее ножками исковерканных кроватей.

Вдоль всей улицы проходила траншея. Во дворе противоположного дома видны были два хода сообщения, ведущие к центральному корпусу завода "Альбатрос", — Лубенцов узнал этот корпус по башенке с часами, увенчивающей крышу. По той же башенке он смог определить и свое местонахождение: он находился на Кверштрассе. Слева — Берлинерштрассе. На углу стояли два железных столба с разбитыми фонарями.

Улицы были пустынные. Изредка слышались шаркающие шаги проходящих где-то неподалеку немцев.

Лубенцов решил снять сапог и перевязать рану. Но снять сапог было невозможно: все сплослось от крови. Сапог следовало разрезать.

Лубенцов проковылял к шкафу. Тут висели мужские вещи — пиджаки, галстуки. Он перевязал себе ногу галстуком наподобие жгута и набросил на плечи какое-то пальто, чтобы согреться. Потом он улегся на диван. Перед ним прошел весь сегодняшний день. Не верилось, что все эти события произошли за один лишь день и что только сегодня утром он сидел в лощине, поросшей кустарником, рядом с Мещерским и Ворониным. Квадратное лицо Чибирева всего лишь несколько часов тому назад колыхалось возле его левого плеча. А теперь Чибирева нет и никогда не будет.

Какая-то темная маленькая тень мелькнула перед глазами. Одиравшая кошка взметнулась по водосточной трубе, по-человечьи разумно заглянула сверкающими глазами прямо в глаза Лубенцову и бросилась вниз.

Очень хотелось пить. Лубенцов подумал: "Неужели в этой квартире нет кухни? Должна же быть кухня в квартире". Огромным усилием воли он заставил себя встать и ползком, волоча раненую ногу, двинулся к коридору. Где он получил это ранение, он так и не мог припомнить.

В коридоре было совсем темно. Лубенцов зажег спичку — и желтый огонек осветил темные стены, сундуки, шелковый цилиндр, стоявший на полочке вешалки, и блестящую ручку зонтика, солидно висевшего на гвозде.

Действительно, здесь была маленькая третья дверь сразу вправо от входной. Он толкнул ее, она не поддавалась. Он толкнул ее сильнее и наконец чуть-чуть приоткрыл. Верно, кухня, но она была сплошь в обломках. Потолок, наполовину проваленный, висел, обнажив погнутые железные балки. В полу зияла черная дыра. Из отверстия слышались тихие голоса.

Он бесшумно подполз к дыре и посмотрел вниз. В полуподвале сидели люди. Горела копилка. В кресле-качалке полулежал совершенно лысый, худощавый, длинноносый человек. Немка в очках лежала на кушетке. Рядом, на узлах с подушками, спали дети.

Стараясь двигаться как можно осторожнее, Лубенцов тщательно обследовал кухню. В шкафчике стояли банки с застывшими на стенках остатками соусов и варенья. Возле шкафчика Лубенцов нащупал кран. Водопровод не работал, но в кране и ближних трубах скопился небольшой запас воды, хотя и наполовину смешанной с песком. Все здесь было смешано с песком и кирпичной пылью и отдавало известкой.

Вернувшись в комнату с диваном, Лубенцов прилег и стал почему-то думать о своем родном крае, о деревне Волочаевке, где он родился. Он вспомнил знаменитую сопку Июнь-Корань, под сенью которой прошло его детство.

На сопке стоит школа, где он учился, и каменный человек со знаменем. Этот человек со знаменем, видимый со всех сторон далеко в тайге, на болотистых падах и лесистых рёлках, был первым ярким воспоминанием детства.

Лубенцов так привык к его виду, к его постоянному порыву вперед, что словно перестал замечать совсем. Но, должно быть, глубоко в душу запал этот образ, этот памятник в честь славного сражения за Дальний Восток, если теперь, оторванный от тех мест двенадцатью тысячами километров и от всей той жизни — линией фронта, он вдруг вспомнил именно его, человека со знаменем, водруженным на далекой сопке.

Сон ли это или так оно было на самом деле?

В черном бревенчатом доме сидела мать, вся в морщинах добрых у глаз и горестных вокруг рта, в платке, завязанном под подбородком. Бесшумными шагами, обутый в мягкие ичиги, ходил по двору отец, работавший бригадиром на ближней делянке леспромхоза, старый партизан и охотник. Он часто брал с собой в тайгу сына Сережу, младшего отпрыска семьи Лубенцовых. Они вместе бродили по нехоженным тропинкам, старый и малый, седой и русый, расставляя силки на енотов и стреляя фазанов.

Семья Лубенцовых давала Дальнему Востоку лесорубов, охотников, старателей и плотогонов, а позднее, после революции, — также и капитанов Амурской флотилии, пограничников, механиков и даже одного народного комиссара. И то, что отец его, Лубенцова, дрался здесь против японцев, отстаивая советский Дальний Восток, и то, что Лубенцовы были разбросаны по городам и весям гигантского края, и то, что один из них был наркомом в Москве, — все это наполняло детскую душу Лубенцова хозяйским чувством по отношению к окружающему миру.

Любой беспорядок в школе, леспромхозе, районе и во всем мире он принимал близко к сердцу, как личное дело. Чей-нибудь нечестный поступок, мокнувший под осенним дождем неубранный колхозный хлеб, фашистские злодеяния в Германии и линчевание негров в Америке вызывали в нем безмерное негодование и страстное желание немедленно, как можно скорее поправить дело, наказать виновных, восстановить справедливость.

...Ночь тянулась ужасно медленно. Голова кружилась, и в ушах стоял какой-то назойливый протяжный крик. Генерал, конечно, считает, что его разведчика уже нет в живых. Ничего подобного, Тарас Петрович! Неужели его, Лубенцова, так просто убить?

Лубенцов слабо улынулся этим мыслям. Слышал ли Мещерский последние слова по телефону насчет того, что наступать нужно на всех участках? Понял ли он важность этих слов?

Еще раз в сознании Лубенцова медленно проплыли видения сегодняшнего дня, лица разведчиков, раненых солдат, убитых связистов и, наконец, лицо Чибирева — последнее виденное им человеческое лицо. И не так его лицо, как крик. Именно этот крик, оказывается, все время стоял в ушах, подобно вертящейся на одном месте граммофонной пластинке, непрерывно повторяющей одно и то же.

Вспышки ракет то и дело освещали комнату слабым светом. Кто-то шаркал по мостовой. Кто-то плакал невдалеке. Кто-то кричал гортанно по-немецки...

Лубенцов забыл о боли и жажде, когда утром загрохотали наши орудия. Снаряды рвались возле главного корпуса и на Семинарштрассе, где с грохотом осел один дом, изрыгая обломки и языки пламени.

По ходам сообщения напротив забегали немецкие солдаты, то и дело показываясь в проломе каменной стены, под которой проходила траншея.

В траншее показался офицер. Он очень суетился. Солдаты же при каждом разрыве снаряда останавливались и прижимались к земле.

Потом на мгновение стало тихо. Тишина эта, к которой Лубенцов прислушивался с бесконечным вниманием, вскоре прервалась новой канонадой: сухой гром, свист снаряда, а потом дальний разрыв. Это стреляли немцы. Затем раздались тарахтение моторов. У самого дома, почти рядом с Лубенцовым, остановился немецкий танк. Он стал быстро, как будто в страшной спешке, выпускать снаряд за снарядом. Картина в темно-красной рамочке, изображающая голую женщину, зашевелилась и упала на пол.

Система немецкого огня вырисовывалась как нельзя лучше. На перекрестке через два дома от Лубенцова из подвала бьет, как бешеный, один, как видно крупнокалиберный пулемет. Второй работает с углового дома Семинарштрассе. Танки в условиях городского боя придерживаются такой же тактики, как тот, что только что стоял здесь: постреляв, он убрался в укрытие, за красный дом на Семинарштрассе.

Полжизни за телефон или рацию!

На улице показался немецкий отряд человек в шестьдесят. Это были пожилые люди и мальчишки с красно-черными повязками на рукавах, одетые в штатскую одежду, но вооруженные винтовками. Винтовки были разные, и эти люди ростом были разные и выглядели каким-то нелепым тыном из разных палок. Они взволнованно галдели, как утки на болоте.

Шедший впереди офицер вдруг обернулся к своему воинству, что-то процедил сквозь зубы, и они запали. Нестроино, жалко, от детского до старческого дисканта. И среди визгливых голосов — дрожащие басы. Боже, что за песня! Волосы становились дыбом от нее. Что касается слов, то они были страшно воинственные. Это была знаменитая песня "Хорст Вессель", сочиненная в мюнхенских пивных.

Снова ударили наши орудия, и немцы, не слушая команды, попрыгали в траншею, давя и пихая друг друга.

Лубенцову показалось, что он слышит отдаленные крики "ура". Вражеские пулеметы заходились от бешенства. Заработал еще один пулемет с Берлинерштрассе. По траншее снова побежали немцы, направляясь к главному корпусу с

других участков. Из-за красного дома выдвинулись три танка и в страшной спешке начали стрелять картечью.

Стало тихо, Лубенцова лихорадило. Холодное солнце висело над городом.

Из какого-то переулкa показалась группа офицеров. Впереди шел высокий худощавый эсэсовец в черном мундире, в черной фуражке и в черных дымчатых очках. Он шел твердой походкой, остальные следовали за ним в некотором отдалении.

Навстречу приближалась другая группа. Несколько солдат с винтовками вели двух безоружных солдат.

Эсэсовец в дымчатых очках, остановившись возле этой второй группы, что-то прокричал. Один из арестованных, толстый немолодой человек без шапки, упал на колени. Второй, высокого роста мальчик лет пятнадцати, заплакал. Его лицо было окровавлено.

Их поволокли к перекрестку. Поднялась возня, возле железных фонарей на перекрестке появились столы и лестница.

Эсэсовец махнул рукой, и на фонарях заболтали связанными ногами двое повешенных. Затем один из солдат сел за стол под повешенным мальчиком и стал водить самопишущей ручкой по белой бумаге. Его рука дрожала. Другой солдат тяжело влез на стол и прикрепил бумагу с надписью на грудь висящему мальчику. Потом он перенес стол ко второму фонарю и повесил такую же бумагу на грудь толстому человеку. Потом все постояли минуту и ушли. Вскоре из подвалов высыпали немцы и немки. Они подошли к повешенным, постояли, почитали и молча разошлись.

Снова опускался вечер. Предстояла бессонная ночь в ожидании: "Неужто и завтра наши не придут?"

Лубенцов впервые подумал о том, что — чем черт не шутит! — он может и не выбраться из этого Шнайдемюля. Но он тут же себя одернул. Ведь наши завтра обязательно придут. Ведь, наверное, и комкор, и командарм, и командующий фронтом негодующе запрашивают: "Долго вы там будете возиться со Шнайдемюлем?"

Прошла ночь. Наступило утро. А вокруг царила почти полная тишина. Напрасно вслушивался Лубенцов в окружающий мир. Наша артиллерия молчала. Движение на улицах оживилось. Немцы шли во весь рост, разговаривали громко и вели себя так, словно все самое страшное для них уже позади.



Николай Наволочкин

Родился 5 января 1923 года в поселке Николаевка Смидовичского района. В 1940 году окончил 10 классов средней школы и до призыва работал в школе лаборантом, а затем библиотекарем.

В августе 1941 года был призван в Красную Армию. Служил в г.Свободном Амурской области. Здесь, на Дальнем Востоке, он закончил полковую школу, получил звание сержанта, был командиром отделения связи.

С декабря 1942 года по август 1944 участвовал в Великой Отечественной войне в составе 193 стрелковой дивизии в должности начальника радиостанции 148 отдельной роты связи. Дивизия входила в состав Центрального, а затем 1-го Белорусского фронтов. Н.Д.Наволочкин принимал участие в Курской битве, форсировании Десны, Днепра, Сожа, в освобождении Белоруссии и Польши. В августе 1944 года был второй раз тяжело ранен и больше в боях не участвовал. Лечился в госпитале.

За разные подвиги Николай Дмитриевич награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», польской наградой «Братство по оружию» и другими.

После демобилизации из армии Н.Д.Наволочкин вернулся в Николаевку, окончил учительский институт в Хабаровске, а затем, в 1951г., закончил исторический факультет Хабаровского педагогического института.

С 1951 по 1959 работал в Хабаровском книжном издательстве вначале редактором, а с 1953 года - главным редактором. Такое быстрое продвижение стало возможным, потому что писать он начал, еще будучи в армии. Во время войны написал много стихов, которые были опубликованы в дивизионной и армейской газетах.

Первый сборник стихов «Дорогие мои земляки» Николай Дмитриевич опубликовал в Хабаровске в 1953 году, а затем вышли его повести «Шли радисты», «Жду ракету», посвященные фронтовикам-дальневосточникам.

В 1954 году Н.Д.Наволочкина приняли в Союз писателей СССР. Им было издано 20 книжек для детей в стихах и прозе, которые выходили в Москве, Хабаровске, Благовещенске-на-Амуре, Южно-Сахалинске, Магадане.

С 1959 по 1987г. Н.Д.Наволочкин работал в журнале «Дальний Восток», сначала - заместителем главного редактора, а с 1977 и до 1987, до ухода на пенсию, главным редактором. Он автор исторических романов: «Амурские версты», «По особым поручениям» и «С кем поменяться судьбой...», исторического очерка «Дело о полуторах миллионах» (о денежном обращении на Дальнем Востоке в годы гражданской войны).

Тепло встретили почитатели огромного таланта Н.Д.Наволочкина юмористическую повесть «После дождика... в среду».

Николай Дмитриевич известен не только как писатель, но и как общественный деятель. Он приложил немало усилий для популяризации истории Хабаровска,



края, для сохранения памятников прошлого, поддержки творческой писательской молодежи. Наволочкин - бессменный участник читательских конференций, слетов юных туристов-краеведов, исторических чтений.

Н.Д.Наволочкин награжден двумя орденами «Знак Почета» и медалями, ему присвоены почетные звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Почетный гражданин Хабаровска».



ДВА ДЕМИНЫХ (Глава из повести «Жди ракету»)

Всего год назад Демин был курсантом пехотного училища. Сокращенная, «инкубаторная», как горько шутили курсовые офицеры, программа казалась Демину долгой. Он боялся, что не успеет на фронт, особенно после Сталинграда.

Приказ об окончании училища курсанты слушали, когда шла битва на Курской дуге и в сводках Совинформбюро часто упоминались Поньри, Малоархангельск, Белгород...

«Теперь-то уж на фронт!» — радовался Демин.

Но сборный состав из теплушек и пассажирских вагонов повез его с командой других младших лейтенантов не на запад, а на восток, все дальше и дальше от фронта. «Кончится война без меня. Обязательно кончится!» — переживал Демин. А поезд, будто насмехаясь, стучал колесами, стучал и привез в тот самый деревянный районный городок, из которого Демин призывался в армию. В знакомом тихом городке оказалось непривычно много военных. Утром город просыпался от команд и строевых песен, а поздно ночью засыпал тоже с ними.

Здесь младшему лейтенанту пришлось целый месяц переучиваться с пехотного

офицера на бронейщика. А совсем рядом, в трех часах езды на поезде, на берегу таежной реки смотрелся в воду его родной поселок. Три часа туда, столько же - обратно. В общем, половина суток на дорогу да еще бы половину суток побыть там - всего-то нужны одни сутки. А они никак не выкраивались.

Наконец, через месяц пришла очередь Демина отправляться на фронт. Вот тогда-то начальник курсов и дал Демину эти сутки. Именно дал. "Получайте сутки, — сказал он, — и ни минуты больше. Одна нога там — другая здесь... — И добавил: — Эшелон из-за вас задерживать не будем". На вокзале, куда Демин прибыл чуть свет, выяснилось, что уехать можно только с попутным товарным поездом; пассажирский будет лишь поздно вечером. И Демин пошел искать товарный. Он словно ожидал младшего лейтенанта. Два паровоза, впряженные в длинный состав, отдувались паром.

Ехать в поселок, где ты двадцать один год назад родился и вырос, было тревожно и радостно. Правда, родители его там уже не жили. В самом начале войны, когда Демин учился в пехотном, они переехали на нижний Амур. Зато в поселке жили дядька Федор и... Нина.

Федор свое уже отвоювал. В Сталинграде осколками ему покалечило обе ноги. "Ничего, — писал Федор в письмах, — сейчас я маленько подправился и уже бегаю по бирже с костылем и молотком". Дядька, как и до войны, работал бракером на песозаводе, и молоток, с клеймами, подтверждавшими сорт леса, был его главным инструментом.

Через три томительных часа, спрыгнув у семафора с подножки, Демин шагнул по шпалам железнодорожной ветки и удивлялся, что, кажется, совсем не волнуется. И на станции ничего не изменилось, будто не прошло трех лет. У стрелок, что подключали ветку, ведущую на завод к основной магистрали, так же лежали возле Нининого дома бревна. "Интересно, где сейчас она?" — подумал Демин и увидел Нину. Она вышла из-за дома с охапкой дров в той самой вязаной кофте, в которой бегала в школу. Он хотел окликнуть ее, а девушка скаталась:

- Приехали! А я вас знаю. Вы приходили к нам вместе с Ниной. Тогда еще... до войны.

- А как Нина? Где она? - неожиданно охрипшим голосом спросил Демин.

- Уехала... Вышла замуж и уехала.

- А вы кто?

- Я ее сестра. Да вы меня не помните. Мне тогда было всего четырнадцать лет...

...От встречи с сестрой Нины, от короткого разговора с ней осталась только легкая грусть. И он понял себя так: сейчас война. Война, и потому несколько не обидно. И все, что было, отодвинулось враз так далеко, словно это не он провожал девчонку-одноклассницу, а кто-то другой. И лейтенант шел по шпалам, перешагивая через одну, думал о встрече с Федором и, не замечая этого сам, все убыстрял и убыстрял шаг.

Эта десятки раз пройденная дорога за жизнь Демина не раз то укорачивалась, то удлинялась. Когда он, еще совсем мальчишкой, ходил с босоногими приятелями на станцию, она казалась длинной, как большое путешествие. И мальчишки отдыхали сначала на мосту, потом на бугре, с которого одинаково хорошо видны и поселок, и бегущие мимо маленькой станции поезда.

Весной сорок первого он часто провожал на станцию Нину. И как они оба ни

замедляли шаги, сколько ни останавливались, угадывая созвездия, дорога не становилась длиннее, чем она была на самом деле. Наоборот, казалось, что она удивительно коротка. И ее не хватало, и приходилось сидеть на прохладных бревнах у Нининого дома, у самых стрелок, тех, что подключают короткую одноколейку к большой транссибирской магистрали. Маленькую дорогу детства к большой дороге длиною в жизнь. И тогда казалось, что трехкилометровая дорога никогда больше не покажется длинной.

И действительно, когда летом сорок первого ничего еще не понявшие девчонки провожали своих стриженных, несостоявшихся женихов в военкомат, дорога опять оказалась короткой. Короче, чем те пять минут, когда билеты уже куплены, рюкзаки и фанерные чемоданы брошены в тамбур вагона и все стояли и ждали отправления. Сейчас он торопился, а дорога все росла и росла. Она заставляла узнать забытый овражек, старую, словно скрученную узлами иву, осыпавшийся кювет — в него он однажды завалился вместе с велосипедом. К мосту Демин почти подбежал, а до поселка был еще километр. Потом надо было пройти еще километра два до дома дядьки Федора. И эти два километра по досчатым тротуарам — они никогда не принимались в расчет — тоже словно стали длиннее. Демин шел мимо деревянных домов и ему почему-то не хотелось, чтобы его узнавали. На углу переулка, недалеко от дома Федора, он увидел постаревшего отца своего школьного товарища Генки, но не окликнул его и не поздоровался. Не хотелось ни с кем говорить, пока не увидит дядьку.

До войны в этом переулке, особенно по субботам, Демину не раз приходилось встречать дядьку, когда он навеселе шел и распевал все одну и ту же песню.

Весь поселок знал, что, когда Федор загуляет с мужиками, он вдруг, в самый разгар гулянки, вспомнит о жене и бежит из-за стола. Кое-как нахлобучив шапку, в застегнутой на одну пуговицу телогрейке, идет он по улице и, нетвердо шагая, поет:

- Ах, Любка моя,

Ты голубка моя...

- Федя домой идет, — говорили соседки.

- Федор с переулка грехи начинает замаливать, — понимающе улыбались мужики. — Покажет ему сейчас жинка.

Но Люба, заслышав песню, цедила в кружку огуречного рассола, стелила постель. А когда Федор, виновато улыбаясь, появлялся на пороге, раздевала и разувала его, поила рассолом, чтобы утром не бопела голова, и укладывала, как ребенка, спать.

Сейчас по переулку, все в одну сторону, тянулись люди. Демин обошел одну группу, другую, и вдруг тяжелое предчувствие сжало сердце. Куда это идут и мужчины, и женщины? Рабочий день, а все идут, будто сговорившись, куда-то в одно место.

Попадались знакомые, но Демин обходил их, а его в военной форме не узнавали. У дома Федора он увидел толпу и сдержал себя, чтобы не побежать. "Что-то случилось с Федором", — сразу решил он, но в это не хотелось верить. У калитки его узнали, расступились. Кто-то окликнул его по имени, кто-то сказал:

"Племянник приехал". А из дома уже выносили некрашеную крышку гроба и сам гроб с Федором. А потом показалась поддерживаемая соседками под руки Люба и заплаканная дочка Федора. Глаза у Любы были сухие, губы полуоткрыты. Она жалобно и виновато посмотрела на Демина, шевельнула губами,

сповно собираясь что-то сказать, но не смогла выдать из себя и слова.

По зеленой улице поселка гроб несли на плечах. Демин обернулся и удивился, что столько людей пришло проводить Федора. Рядом вздыхали: "Отжил Федор...", "А ведь все война. Вон как она его исколечила".

Кто-то спрашивал полшепотом: "Не знаешь, кто в нашем цехе собирал деньги? Я еще не внес". Ему тоже шепотом отвечали: "Клименко ходил с шайкой. Все внесли. Кто червонец, кто сколько... Надо же помочь семье. Свой был человек".

За локоть Демина взял сосед Федора, неведомо когда прижившийся в поселке, цыган Кузьма.

- Федю-то, — сказал он, — вся смена пришла провожать, прямо с завода и сюда.

И тут, во внеурочное время, над поселком разнесся протяжный и тревожный голос заводского гудка. То затихая, то усиливаясь, он стлался над забитым бревнами заливом, над одноэтажными домиками и буйными после недавних дождей огородами. Это вторая смена, рабочие которой не могли прийти на похороны, — одна Люба была из этой смены — прощалась со своим товарищем, рабочим человеком Федором Деминим.

О своем дядьке младший лейтенант знал все или почти все. И если бы расспросить, Демин рассказал бы о Федоре, пожалуй, интереснее, чем тот сам, будь он жив. И о том, как парнем Федор был первым плясуном в поселке, забывая в этом искусстве даже цыгана Кузьму. "Русскую, Федя! Вальс-чететку! Барыню! Барыню!" — просили, бывало, в клубе, когда он выходил в круг. Федор не помался. Ему самому нравилось до изнеможения плясать. Лишь бы поспевал за ним гармонист, лишь бы кричали: "Давай, Федя!" Особенно загорался Федор, когда с летним сплавом леса появлялись в тесном клубе ребята-сплавщики. У них тоже водились свои плясуны. И здесь речь шла уже о чести заводских и сплавщиков.

Помнил младший лейтенант, как уходил Федор на действительную, а потом вернулся в острокопечном шлеме - мечте всех мальчишек - с двумя треугольничками на петлицах шинели. Как бегал он зимой через протоки и острова в соседнюю деревню на вечерки, а женился перед самой войной на соседке Любаше. "И чего было носиться за пять верст по морозу?" — хохотал цыган Кузьма.

И на войну Демин провожал Федора: его, как "годного и обученного", призвали сразу, едва была объявлена война. Тогда с завода уходил чуть ли не целый взвод рабочих парней. Котомки всех везли на одной повозке. И уже у моста Федор вдруг вспомнил, что забыл свой рюкзак, набитый Любой под завязку. Забыл дома на поленище дров. Федор кинулся обратно, а молоденькая жена — прожили-то всего полтора года — постояла, постояла, не зная, идти ли со всеми, ждать ли здесь или бежать за Федей, а потом все-таки бросилась, залопив руки, как птица крылья, за ним.

Кладбище с дедами, основавшими поселок, лежало за лугом. Но сейчас луг затопило половодьем. К этому здесь привыкли. Вода разливалась, топя луга и покосы каждый год. За последней улицей, на берегу, уже стояли лодки и моторки. Еще вчера их сюда пригнали все, у кого водилось какое-нибудь суденышко. Пробовали провести заводской катер, но он не прошел.

И поплыл Федор в последний путь по разливу, который очень любил. Боль-

шая вода - и беда, потому что топит покосы, но жители приспособились, успевают и откоситься, и вывезти сено до наводнения. Большая вода - и радость для рыбаков, ягодников, охотников и мальчишек. Плыви, куда вздумается.

Две моторки тянули баркас с гробом, а за ними вереницей плыли лодки. День выдался солнечный. Разлив искрился яркими бликами. И казалось, что это не похороны, а воскресная прогулка.

Похоронили Федора на самой окраине кладбища, на склоне, где еще никто не рыл могил. Он сам выбрал это место. Так и просил: "На бугорке, чтобы и луга, и разлив, и поселок...".

В часть Демин возвращался опять на товарном поезде, груженном распиленным на заводе лесом. Он трясся на тормозной площадке и думал: что же такое сделал Федор, обыкновенный человек, за что его уважали люди? Ну, вырос на заводе, работал на нем, воевал совсем недолго, вернулся израненный, без награды. И только чуть-чуть оправился, опять приковылял на завод. Может, потому, что никому не делал зла, всегда был вместе со своими заводскими?

Вот его нет. И остались от Федора только имя да добрая память, а дела его попробуй разыщи. Даже эти доски и шпалы, что везет состав, изготовил завод, а не один Федор. Возможно, только на торце какой-нибудь плахи сохранилось клеймо, оставленное его молотком. Оставленное еще тогда, когда плаха была простым бревном. А пилоправ Кузьма? Он правит и правит пилы для распиловочных рам, правит с тех пор, как помнит его Демин. И тоже попробуй разыщи его дела. Цепи пил снашиваются, заменяются новыми. Может, все дело в том, что и Федор, и Кузьма, и все они вместе делают одно общее. И один без другого не могут.

Состав долго стоял на маленькой станции, где в гражданскую войну произошёл знаменитый бой. Здесь, на станции, тоже жили и что-то свое делали для войны обыкновенные люди, такие же, как Федор. За и ради которых свершилась революция, почти пять лет шла гражданская война, по-всякому — в муках и с песнями — строилась новая жизнь, а сейчас идет небывалая битва на западе. И Демин больше, чем когда-либо раньше, почувствовал свою кровную связь с этими людьми. Боль о потере как-то смягчилась при воспоминании о тех, кто пришел проводить Федора, о гудке, которым прощался завод со своим рабочим Федором Деминым.



Владимир Клипель

Старейший дальневосточный писатель-баталист, краевед, художник-пейзажист, большой знаток дальневосточной природы Владимир Иванович Клипель родился в 1917 году на станции Ин Смидовичского района ЕАО в семье рабочего-кузнеца. Здесь, на Ине, прошло его раннее детство. В 1931 году он окончил школу-семилетку и уже в январе 1932 года, на пятнадцатом году жизни, начал работать на мелиоративной станции рабочим-пикетажистом, затем там же - чертежником.

В 1937 году Владимир Иванович поступил в Свердловское художественное училище, но закончить его не успел, так как в октябре 1939 года с третьего курса был призван в Красную Армию. Он участник финских военных событий 1940 года. С июля 1941 года рядовой Клипель стал участником Великой Отечественной войны. От лейтенанта, начальника штаба стрелкового полка по разведке он вырос до звания майора, старшего офицера оперативного отдела штаба армии.

За боевые заслуги гвардии майор В.И.Клипель награжден двумя орденами Боевого Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I ст., 12 медалями, в том числе: «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и др.

В 1946 ушел в запас по собственному желанию. Женился на однополчанке Марии Иосифовне, которая во время войны в звании гвардии лейтенанта командовала взводом разведки. С момента ухода из армии по апрель 1948 года В.И. Клипель с семьей жил в Уфе, работал в Башкирском оперном театре художником, заведующим декоративным цехом театра.

В мае 1948 В.И.Клипель вернулся на Дальний Восток. Он был художником в клубе ст.Литовка, затем - в Доме офицеров на Пехотном, в УНР-272.

С сентября 1957 по апрель 1959 года Владимир Иванович учился на высших литературных курсах в г.Москве, после окончания которых 20 лет (1959-1979) работал в Хабаровском книжном издательстве редактором отдела художественной литературы. В 1977 году стал пенсионером.

Широкую известность В.Клипелю как писателю принесли его романы о войне: «Медвежий вал» (1956), «Испытание на верность» (1977), «Солдаты Отечества» (1985), «Исповедь» (1995). За книгу «Солдаты Отечества» писатель награжден серебряной медалью Александра Фадеева.

В.Клипель страстно влюблен в дальневосточный край. Он участник многих таежных экспедиций, в буквальном смысле этого слова исходил весь Дальний Восток. Он автор книг: «Попутчики», «Дебри», «Дневник летних странствий», «Лесные узоры», «Второе дыхание» и др.

Несмотря на возраст и трудные времена, В.И.Клипель продолжает работать. Написал немало публицистических статей, очерки о природе края «Календарь



Приамурья».

В 1992 году Владимиру Ивановичу было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», а в 1996 году губернатор края В.И.Ишаев наградил В.И.Клипея денежной премией за книгу «Исповедь». Ему присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска».

«МЕДВЕЖИЙ ВАЛ» Отрывок из романа

Стремительно наступали Первый Прибалтийский, Первый, Второй и Третий Белорусские фронты. Могучие Вооруженные Силы советской державы наносили очередной сокрушительный удар по немецко-фашистским захватчикам, чтобы освободить навсегда Белоруссию, большую часть Литвы и Польши. Танковые и механизированные войска Первого и Третьего Белорусских фронтов стремились к Минску, чтобы сразу замкнуть в громадном кольце несколько фашистских армий и корпусов.

Догоняя свой ушедший вперед фронт, по дорогам Белоруссии шла армия Березина. Пылили бесчисленные колонны машин, груженных боеприпасами и снаряжением, с прицепами, орудиями, зарядными ящиками, тяжелыми минометами. Машины были до отказа забиты brave бойцами в пыльных пропотевших гимнастерках, а иногда девушками-санитарками, связистками, если проходил медсанбат или батальон связи.

Среди общего шума, висевшего над колоннами, прорывалось пикивание гармошек и аккордеонов. Только песен не было, хотя петь пожелали бы многие. И пели бы, но из-за пыли, тучами подымавшейся за каждой машиной, нельзя было раскрыть рта.

Лена сидела среди ящиков и узлов с постелями. Впереди и сзади размеренно двигались одноконные и парные повозки, свои и трофейные, на которых ехали санитары и легкораненые, оставшиеся в строю и на время марша взятые под наблюдение полкового врача. Народ все был веселый, озорной, несмотря на бинты и порою солидный возраст. Иные ехали верхом на трофейных лошадях. Транспорта было в избытке, и начальство старалось подобрать его побольше, чтобы сохранить силу бойцов во время длинных маршей.

Санитарную часть полка обгонял, тяжело переваливаясь на ухабах, большой штабной автобус. Среди бойцов и офицеров, до отказа заполнивших машину, Лена узнала полкового экспедитора — дядю Ваню, как называли его все за солидность и пушистые усы цвета спелой ржи. Дядя Ваня на ходу что-то перебирал в своей черной кожаной сумке. Не надеясь на ноги, он добирался до места привала полка оказией.

Увидев его, Лена остро почувствовала, как ей недостает писем от Павла. Хуже всего, она не знала даже, жив он или нет. В памяти всплыли его слова: "Прощайте! Может, больше не увидимся совсем!.." Как поздно она тогда поняла их смысл!

— Дядя Ваня! — что есть силы крикнула девушка и, привстав, замахала руками, чтобы ее заметили.

Экспедитор поднял голову от сумки, отыскивая глазами того, кто мог его позвать.

— Дядя Ваня! Письма есть? — кричала она ему, стоя на повозке.

Он спохватился, не столько расслышав, сколько догадавшись, в чем дело, и, уже еле различая девушку за пыльной завесой, поднял руку, показывая два пальца.

Целых два письма, в которых она так нуждалась, уходили с автомашиной вперед!.. Леной овладело отчаяние... Ждать до самого вечера, томиться в неизвестности — это выше ее сил. Она готова была бежать за автобусом, но потом кое-как взяла себя в руки и стала думать, о чем ей мог написать Павел. Почему-то ее не покидала уверенность, что хоть одно письмо должно быть непременно от него. Какой нелепой казалась недавняя размолвка, какой глупой! Разве можно было ей так себя держать? С высоты прожитого, выстрадавшего она попыталась взглянуть на все их отношения с Круговым.

Да, Павел ей понравился с самой первой встречи. Он был порой неуклюж, порой неловок, порой смешон, но всегда — и это чувствовала Лена — честен и искренен. Он не мог лгать, и это сразу расположило Лену к нему. Из легкого девичьего озорства в тот памятный первый день их знакомства она позволила ему поцеловать себя. Но только ли из озорства?.. Нет, и она поняла это, едва распростилась с ним, и часть ее сердца осталась с Павлом: это сразу заметили ее друзья-разведчики!

А потом — новогодняя ночь. Это была славная ночь, чистая, светлая, лунная, проведенная с хорошими людьми. Но она задержалась тогда в полку Павла, явилась поздно, и ее дружеские отношения с ребятами-разведчиками после этого сменились другими, словно ее подозревали в чем-то нехорошем. Ей даже передавали какую-то грязную сплетню, в которую впутали и ее имя. Потом два солдата, которых она даже и не знала толком, подрались из-за нее. Пожилой разведчик, человек умный и опытный, посоветовал ей уйти из взвода.

— Ребята у нас славные, — говорил он. — Болтовня идет, я знаю, от кого. Но на чужой роток накидывать платок — по-всякому выходит. Еще больше болтовни не оберешься — и так бывает...

Она послушалась, подала рапорт с просьбой о переводе в санитарную роту.

Так довольно нескладно закончилась та страничка ее жизни, когда она хотела служить Родине не там, где, может быть, полагалось женщинам, а на самом опасном и трудном деле — в разведке!

Ну, перевели ее из разведки и, казалось бы, все! Но обида оставалась: разве она в чем-нибудь виновата? Так за что же на нее так? Не лучше ли, если бы не было ни этих встреч, ни знакомства с Круговым? Вот и шли от нее письма то теплые, откровенные, то колючие, как ежи...

В санитарной роте она столкнулась вплотную с человеческими страданиями.

В разведке она видела убитых, раненых и переживала за них — это было как-то объяснимо: ее товарищи. А тут, когда полк вел бои, через ее руки проходил целый поток искалеченных, истекающих кровью. Она не могла спокойно выносить вида раненых, их стонов, криков, сопровождавших каждый толчок носилок. Видеть, слышать, пережить эти дни, делать все возможное, чтобы облегчить муки людей, — казалось, у нее не хватит на это ни мужества, ни сил. Она и сама тогда не подозревала, что санитарная рота явится для нее школой, которая научит ее ценить моральные качества человека несравненно выше физических. Она поняла, что те, кто попал сюда на окровавленных носилках или, преодолевая боль, дотацился сам, — это неизбежная плата за торжество того дела, ради которого

и она готова была отдать свою жизнь.

Лена много читала до войны, потом думала (после ухода от разведчиков), что книжное — это иное, чем сама жизнь, а сейчас, когда вычитанное слилось с пережитым ею самой, она поняла, что хорошие книги учили ее правильно понимать людей. Человеку дано право на настоящие чувства, и он может следовать им, если убедился, что они у него искренни, что выбор сделан правильно, потому что жизнь одна, разбитую — ни залечить, ни поправить: она так и останется ущербной. Она верила: Павел — честный, искренний человек. Когда начались решающие бои за Витебск, она столько за него тревожилась, что поняла и другое — без него ей не бывать счастливой.

Поздно вечером, когда солнце клонилось к самой земле и готовилось вот-вот коснуться зубчатой кромки леса, полк остановился на привал. Санитарная рота устроилась на краю деревни у небольшого садика. Не в силах больше оставаться в неведении, Лена побежала искать экспедитора. Она нашла его среди полковых минометчиков.

— Дядя Ваня, вы говорили, что мне есть письма, — тронула она его за рукав.

— А, дочка, — заулыбался он, — не вытерпела, прибежала. Есть, конечно, есть...

Экспедитор раскрыл свою сумку с многочисленными отделениями. Одно письмо было от родных. С недоумением рассматривала она второй конверт с незнакомым почерком. "Д. Зайков" — такой фамилии она никогда не слышала. "Может, кто из раненых", — подумала она и только тут обратила внимание на то, что адрес совпадал с адресом Павла. "Значит, его нет и кто-то из друзей сообщает об этом!" С мучительной тревогой в сердце Лена стала поспешно разрывать конверт. Открытка: "Лена, не сердись на меня..." — писал Павел. Но почему же тогда рядом чужое письмо? Значит, все-таки что-то случилось! "Уважаемая Лена! — прочитала она, — Вам покажется странным, что пишет человек, не видевший вас в глаза..."

Вновь ей стало страшно, и, словно бросаясь в воду, она стала быстро пробегать глазами с одной строки на другую. Конечно, речь шла о Павле. В письме подробно описывалось, что с ним было в дни боев... "Посылаю эту открытку в знак того, что в самую опасную минуту он думал о вас. Я рад, что вас любит такой славный человек, как Кругов..."

Она не могла поверить письму. Если он жив, то почему не написал сам? Видимо, его друг из жалости не хочет сразу огорчать ее страшной вестью. Оставляет маленькую надежду?..

Лена долго сидела не шевелясь. Постепенно оживала вера, что, может быть, с Павлом и в самом деле ничего не случилось. Ей даже пришло на ум, что только напряжение последних дней помешало ей понять письмо так, как оно написано.

...Она о многом передумала в этот вечер. Не знала Лена, что ее ждет в будущем, останется ли она сама жива, дождется ли своего счастья. Одно она знала твердо: за него надо бороться, надо идти вперед до тех пор, пока не наступит полная победа над врагом.

Над деревней зажглись крупные бледные звезды. Ласково, ровными столбиками тянулся к ним дым от костров.

На громадной высоте с сигнальными огоньками звездочками плыли самолеты к фронту или еще дальше — на Берлин. Рокота их моторов не было

слышно из-за шума машин, идущих через деревню.

Лена встала, вытерла глаза, и надежда, искоркой тлевшая в груди, привела ее к дороге. Двигалась какая-то незнакомая часть. Вдруг она увидит Павла? В свете фар плыли орудия и повозки, устало брели бойцы. Завидев Лену, бойцы бросали в ее адрес колючие шуточки, звали с собой, но она не отвечала им и продолжала стоять. Потом пришло решение - завтра с утра ехать и отыскать его часть, где бы она ни находилась.

Лена направилась к командиру роты, чтобы получить разрешение. "В крайнем случае, я ему все расскажу. Не может быть, чтобы он не отпустил", — думала она.

В расположении роты ее окликнули:

— Где ты ходишь до сих пор, Лена? К тебе кто-то приехал, а ты будто сквозь землю провалилась!

— Кто приехал?

— Это тебе лучше знать. Какой-то офицер. Лена почти бежала. Возле палатки для раненых, поодаль, стоял приезжий. Свет от костра огненными бликами пробегал по накидке, широкими складками ниспадавшей с его плеч.

Человек стоял к ней спиной, понутив голову. Заслышав шаги, он обернулся.

Лену обдало жаром, она остановилась не в силах сделать ни одного шага.

— Павлик! — еле слышно прошептала она.

— Лена! Как я ждал тебя, ласточка моя... Крутов, не таясь, открыто прижал ее к своей груди. Все люди стремятся к счастью. Разве посмеет кто-то смеяться над ними, осуждать их, если человек рожден, чтобы жить, работать, растить детей, наслаждаться радостями, если в этом заключается Ее Величество Жизнь.



Сергей Кучеренко

Родился в с.Нижняя Полтавка Амурской области в 1927 году в крестьянской семье. Его детство и школьные годы прошли в поселке Николаевка Смирдовичского района ЕАО. Закончив здесь среднюю школу, поступил в Тихоокеанское высшее военноморское училище имени С.О.Макарова во Владивостоке. Затем одиннадцать лет служил на разных командных и штабных должностях на боевых кораблях и в соединениях Тихоокеанского Военно-Морского Флота. В 1960 году в звании капитана 3-го ранга по состоянию здоровья уволился в запас и поселился в Хабаровске.



В гражданской жизни Сергей Петрович избрал профессию охотоведа-биолога. В 1967г. заочно с отличием окончил Иркутский сельскохозяйственный институт, факультет охотоведения, а через три года защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хищные млекопитающие Сихотэ-Алиня».

Публиковать научные статьи начал с 1965г. За 23 года охотоведческой и научной работы опубликовал свыше девяноста научных и не менее шестидесяти научно-популярных статей. Основная тема его статей - биологические ресурсы Дальнего Востока, их рациональное использование, человек и природа.

Первая книга С.П.Кучеренко - «Звери у себя дома» - была выпущена Хабаровским книжным издательством в 1973г. Она носит научно-популярный характер, написана на основе кандидатской диссертации, но наполнена переживаниями, мыслями и чаяниями автора. В 1979г. книга была переиздана с дополнением. Впечатления от путешествий в горах Сихотэ-Алиня стали основой двух последующих очерковых сборников: «В снегах Сихотэ-Алиня» (1975) и «Зов Сихотэ-Алиня» (1981).

В своих книгах Кучеренко знакомит читателей с уникальной дальневосточной природой: редкими видами хищников («Тигр», 1985), своеобразием амурской ихтиофауны («Рыбы у себя дома», 1988); размышляет о соприкосновении мира живой природы и мира людей («Корень жизни», 1987). Для детей в 1986г. вышел сборник новелл («Лесные знакомства»). С.П.Кучеренко с 1983г член Союза писателей СССР.

В 1991 году С.П.Кучеренко выпустил книгу «Сын тайги». В нее включены произведения, в которых удачно сочетаются взгляды писателя-натуралиста и писателя-психолога, а в итоге тонко и достоверно отражаются движение человеческой души, любовь и бережное отношение к природе.

С.П.Кучеренко - автор текста цветного буклета природы Дальнего Востока: амурский тигр, лось, леопард, рысь, заяц, горностай, косуля, медведь, белка и др.

Природа привлекает С.П.Кучеренко не только внешней красотой, но и внутренним своим содержанием. Она заставляет его задуматься о смысле жизни, о ее вечности и разумности.



КАРАСИ МОЕГО ДЕТСТВА (повесть в новеллах)

Ожидание

Есть вечные, никогда не устаревающие темы. И воспоминания детства вечны остаются в этом перечне нестареющих тем, и потому, что "душа опоры ищет в детстве" и все с него начинается, и оттого, что чем больше лет остается позади, тем чаще оглядываешься на прожитое и все глубже окунаешься именно в детство, каким бы трудным и горестным оно ни было, и иным образом осмысливаешь настоящее.

У каждого есть своя немеркнущая во всю жизнь светлая память далекого. Мое детство — это в первую очередь зелено-голубые просторы вокруг Николаевки, залив и речка, роса и зори над ними, голодные и тяжкие военные годы... И караси.

Теперь нечасто мне доводится выезжать из Хабаровска на рыбалку, но в такие счастливые дни я непременно плыву не на теплоходе или барже-самоходке по Амуру, а на моторке, и плыву на Тунгуску, чтобы увидеть реку и вспомнить карасей моего детства.

Течет-петляет эта Тунгуска тугим просторным потоком от яра к яру и от косы к косе, от березовой рощи к дубовой или осиновой, между широких лугов и узких полос прибрежных тальников, то растекаясь заливами, то разветвляясь на десятки прямых и невообразимо извилистых протоков, огибающих острова, то снова сбегаясь в единое русло. Обыкновенная река Приамурья, не таит она в себе чего-либо особо примечательного: таких здесь сотни. Но все же нет ее милее, потому что она — река, которую я узнал пацаном.

Неодолимая тяга к Тунгуске понятна: там я рос, там была моя мальчишеская робинзонада, там каждый завтрашний день ожидался праздником. И там же непередаваемо трудные, нищие и голодные военные годы вкладывали в наши неокрепшие души уважение к труду, скромность в желаниях, простоту и доброту...

Когда я режу носом стремительной "казанки" желтоватые воды Тунгуски, вместе с ее знакомыми и уже незнакомыми берегами проплывают далекие, в памяти как бы поседевшие годы и детство мелькает, вспыхивает, бережит душу и зовет, и вот я окунаюсь в него с головой, и нет сил противиться мягким волнам сентиментальности... Как будто в тумане вижу родную Николаевку, все труднее узнавая ее. Направляю лодку в Монахову протоку и там, у "своего" высокого яра, где в давние годы был хуторок безвестного монаха, а потом мои немудре-

ные рыбацьи шалаши, останавливаюсь и отабориваюсь, а самого гложет нетерпение: быстрее бы закинуть удочки и вытянуть карася.

Но почему именно карася? Ведь посчастливилось же мне ловить много всякой рыбы. На жмых, на картошку и хлеб доводилось совсем не редко выуживать больших сазанов, и были среди них полупудовые, попадались и еще увесистее. На живца лавливал щук, верхоглядов и змееглозов десятками. С небольшого перемета за одну проверку снимал до пятнадцати—двадцати попавшихся на лягушек сомов, и оказывались в подке почти метровые. И даже полутораметровые... Когда в войну дед Храмов обучил меня тонкостям промысла вентерями и подарил мне их пять штук, я частенько стал видеть в своих уловах тех, кого на крючок не подцепишь: серебристых красавцев толстолобов, великопеленных, сильных, в кованосверкающих одеждах амуров, экзотического китайского окуня-ауху, не говоря уж о всяких там касатках, пещках, красноперках, коньках... Но больше всего глаз ласкали и душу радовали караси-лапотники, в моих уловах всегда самые частые.

Люблю карася с детства и люблю безмерно, а почему — толком не знаю. Красив? Но сазан, толстолоб или амур намного великопелнее его, скромника. Вкусен? Не самый аппетитный, однако, среди амурских рыб. Избранничество ведь часто вообще необъяснимо и загадочно, но чем-то таинственнее, тем крепче.

В сентябре я пропадал на кетовых путинах, видел горы и серебрянок, и уже брачно разукрашенных рыб-бин, а красную икру-пятиминутку, случалось, ложкой уплетал до отвала. Без хлеба: его было очень мало. В октябре ставил переметы на спускающихся с промерзших таежных верховьев в Амур сегов, ленков и тайменей... По льду ловил их же и азартно блеснил щуку — по сотне штук за день выбрасывал запросто... Но почти все время думал о карасях. Искал зимовальные озера, добиг во льду рядом две лунки, соединял их желобом и гнал деревянной полатой зыбку, почти без кислорода воду из одной в другую, прикрытую сачком. Задыхающийся под сплошным ледяным панцирем карась пер в лунку на чистый воздух ошалело.

Всю зиму томительно ждал я весну, чтобы с сачком у первых проталин под берегами поохотиться на истомившегося в духоте карася. И как же я радовался, поймав первого! Брал его в руки, долго любовался, и, шут знает почему, глубоко вздыхал.

С первых проталин до освобождения реки ото льда оставался еще почти месяц, а сразу после весенней шуги была горячая пора ловли переметами тайменей, сегов и ленков, возвращающихся на лето из Амура в свои далекие холодные таежные ключи. Шла война. Это время как раз было самое голодное, и рыба помогала выжить. Да не всегда она ловилась в достатке, и тогда от недоедания кружилась голова и вспухали ноги.

Рыбачьи мысли одухотворялись мечтой о тех горячих майских днях, когда в знойно прогретом бездонном небе поплывут ослепительной белизны облака, а на земле взбушует черемухозый цвет и будут лебяжье-белые черемухи глядеться в тихие заводи, в темной глубине которых стоят или медленно кружатся косяки карасей, набирая силу для близкого нереста.

Нет для их ужения времени лучшего, чем пора распускания черемухи. Аромат горьковатой ее коры, ветвей и совсем молоденьких листьев еще до благоухания цвета наполняет сердце волнением!..

Весна в разгаре, все кругом буйно зеленеет и обновляется, раскрываются первые цветы, неистово токуют и поют птицы. А ты тихо и спартански неколебимо сидишь на зорьке в заветном месте, разбросив пять-шесть удочек, и не придумать тебе более важного и красивого дела, как следить за поплавками и вытаскивать одного караса за другим. А все они крупные и увесистые, все сверкают блестящей кольчужой чешуей и на длинном кукане смирно стоят в воде, шевеля грудными плавниками, ртом и жаберными крышками. Стоят долгими часами, нисколько не теряя силы и бодрости.

Дома наиболее мне симпатичных карасей я опускал в бочку с холодной колодезной водой и подолгу неотрывно наблюдал за ними... А вот на матерых сома и змееголова, величаво шевелящихся в соседней посудине, и взглянуть не таянуло.

Но не просто так наблюдал я за своими карасями. Меня занимали и переливчатость их окраса — от чистого серебра до мореной временем бронзы, и количество годовых колец на чешуе, и складная трубка рта. Завороженно следил за движениями жабер, плавников, хвоста.

Немудреные повадки караса изучал я старательнее, чем куда более сложный образ жизни сазана, толстолоба или змееголова. Был у меня плотно сколоченный ящик со стеклянным дном, и через этот "водяной глаз", примостившись на плотах из бревен в заливе, я подолгу наблюдал таинственную речную жизнь, которую без карасей не мыслил. Или, бывало, уляжешься на первый, как стекло, прозрачный осенний ледок в затишных местах, прикроешь от света голову и замрешь: охолодевшая и устоявшаяся вода чиста и неподвижна, чуть-чуть шевелятся побуревшие водоросли, а между ними стоят караси. Заснут попозже, на глубине, а теперь они уже полусонные, но еще бодрствуют, шевелятся, всасывают почти ледяную, набухшую живительным кислородом воду к жабрам. И все тянутся один к одному, голова к голове, вроде о чем-то мирно беседуют. Вспоминают ли угловатые петние воды? Обсуждают ли проблемы трудной зимы? Или еще на какие житейские темы толкуют меж собой?

Дети и подростки обладают удивительной и счастливой способностью очеловечивать все живые существа и одушевлять недвижимые предметы и явления. И потому они с собакой, кошкой, лошастью ведут себя на равных, и потому заговаривают даже с деревом или дождем... Но чем больше лет, чем больше знаний, тем меньше той способности к очеловечиванию и одушевлению. Видимо, потому, что черствеет сердце и оспабевает воображение. А жаль.

Я всегда на отмельных берегах палочками отмечал уровень воды, и по его малейшему изменению, а еще по погоде знал, где и как ловить "лаптей" — на разливах или в кочках под берегом, на глубине или "вполдна", в вершинах заливов или в их устьях; на червя, рака или на хлебный мякиш.

Приходил с уловом, дома особо крупных карасей иногда взвешивал и замерял. Подумать только, так крепко запала в память величина и соответствующий ей вес карасей моего детства, что и теперь знаю: двадцатисантиметровый перед нерестом весит около килограмма; тридцатисантиметровый — kilo семьсот, а сорокасантиметровый — два двести. После нереста они примерно на четверть легче.

Но все это — в прошлом. Теперь по своим нечастым и небогатым уловам я тоже знаю карасей — "великанов" нынешнего времени: двадцатисантиметровый — триста, двадцатипятисантиметровый — четыреста шестьдесят — пятьсот

граммов. Более крупные не попадают.

Сколько воды унесли реки в моря! Долгие и многие лета подвели меня в упор к старости, утрачены невозвратно детство, молодость, здоровье... Одна лишь рыбацкая страсть не увядает. А где и в чем ее истоки? На этот вопрос мне ответить вроде бы несложно.

Отец был не просто азартным и умелым рыбаком с мудрым промысловым опытом — он регулярно рыбачил для прокорма большой семьи, которой по ряду причин жилось не ахти как сладко. Я частенько плавал с ним в подке или оморочке и насматрелся всякого на всю жизнь. Еще не пошел в школу, а уже знал, где и как ставят вентера и сети, в каком месте и когда заводят бредень или неводок, растягивают перемет, бросают закидушку, крючковую снасть... Уже видел множество лудовых амуров, верхоглядов, толстолобов... Сомов, желтощек, тайменей — в длину больше моего мальчишеского роста.

Как много в пору моего детства и отрочества было рыбы в Амуре! Чего только не довелось наглядеться! И теперь вижу ухваченные поразительно цепкой и крепкой юной памятью чистые и просторные реки, протоки и заливы, озера и старицы, по ясному гляncy которых, расцвеченному белым, голубым и зеленым, гуляющая рыба разводит круги и углы волн. Караси и сомы чмокали и чавкали, как не наученная аккуратно есть детвора, верхогляды и змееголовы прыгали конями, сазаны и амурсы взмывали свечками. А что вытворяли толпыги! А что выделявали щуки! Какое громадно-непересчетное множество всякой молодежи, не по дням, а по часам набирая рост и силу, суеилось на солнышке прогретых отмелях!

Разве трудно представить, как бегают, радостно и удивленно вскрикивая и сверкая глазами, пацанчик, когда подводят к косе бредень, а в нем бело кипит уйма жаркого рыбьего серебра; когда вытряхивают на песок из тяжелой мотни невода гору яростно трепещущей рыбы; когда на закидушке подтягивают отчаянно выпрыгивающего сазана!

...Мать рассказывала, как я вытаскивал своего первого карася-лаптя: "Силенок одолеть удилещем, поднять в воздух не хватило, так перебрал его ручонками до лески, перекинул ее через плечо и заупирался на откос берега... Хорошо, что кочек не оказалось". То было в шесть моих лет. А годом позже я записал на свой счет полутораметрового-полуторапудового сома, хотя и добыл его случайно... Отцовский табор в сенокосную пору стоял на устье залива, из которого на спад воды сплывала в Тунгуску всякая мелкота. Тут ее караулили сомы. Одного из них, нажравшегося да истомно затяжелевшего, большеголового и толстоузого, выбросило волной от проходящего вдоль берега парохода на песок — прямо к моим ногам. А рядом стояли випы... Сом был длиннее моего роста.

А того, что изловил отец сетью на июльской вечерней зорьке, изловил не без моей скромной помощи, везли в Николаевку утром на пароконной телеге: на ней уместились голова и часть спины с брюхом, а хвост пылил по дороге. Вокруг телеги горланила детвора, встречные мужики и бабы останавливались и ахали. Три с половиной метра в чудище оказалось.

Как тут было не "заразиться" рыбацкой страстью?

Впрочем, мой старший брат не "заразился"... А вот сестра Люся стала на всю жизнь заядлой рыбацкой... Поди-ка разберись. Зов крови? Генетическая память? Азарт подражания? Не ведаю. Но твердо знаю другое: жизнь одарила меня счастливой и постоянной, ни с чем другим не сравнимой рыбацкой страстью.

Валерий Панман

Родился В 1926 году в г.Киеве. Закончил факультет журналистики Уральского государственного университета, а затем - отделение печати Московской высшей партшколы. В Биробиджане живет с 1953 года.

Известен в области как публицист, ветеран журналистики. В 1955 году, после десяти лет службы в армии, пришел в «Биробиджанскую звезду». В редакции прошел путь от литературного сотрудника до редактора газеты. Работал в разных отделах. До сих пор выступает на страницах газеты как очеркист, автор фельетонов, кино и театральных рецензий. Несколько лет возглавлял областное литературное объединение.

Не чужда В.Панману и художественная проза. Время от времени на страницах «Биробиджанской звезды» появляются его рассказы, как правило, основанные на автобиографическом материале. Печатался в центральных газетах «Правда», «Гудок», в журнале «Дальний Восток», участник коллективных сборников «На берегах Биры и Биджана», составитель Книги памяти Еврейской автономной области, автор текста комплекта из 24 цветных фотооткрыток «На берегах Биры и Биджана» (издательство «Плакат», Москва), редактор справочно-энциклопедического сборника «Все об Еврейской автономной области».

В 1996 году Валерий Ильич стал лауреатом премии мэрии города Биробиджана в области журналистики. Член Союза журналистов России. Награжден знаком «Отличник печати Российской Федерации».



ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Летом полеты начинались рано. В пять часов утра по казарме зычно разносилась команда дневального "Подъем!". И в момент — все были на ногах. Умывались на улице. Свежий ветерок, залетавший из недалекой приволжской степи, будрил, быстро прогонял сон.

У курсанта-летчика время расписано по минутам. Вот уже все побриты, койки заправлены, выравнены по шнуру подушки, а со двора звучит новая команда: "Строиться на завтрак!".

- Днепровский, запевай! — весело кричит старшина эскадрильи, укрепляя на крупной голове покрепче мичманку.

Днепровский - высокий чернявый парень, солист нашего ансамбля — затягивает.

Там, где пехота не пройдет
И бронепоезд не промчится,
Угрюмый танк не проползет,

Там пролетит стальная птица...

Строй дружно подхватывает припев - и над полевой пропыленной дорогой летит многоголосно:

Пропеллер, громче песню пой,

Неся распластанные крылья.

За вечный мир в последний бой

Летит стальная эскадрилья.

Этот день начинался, как и другие, обычно. За завтраком немного "потянули резину", распивая чай. Старшина нервно поглядывал на часы. Наконец, построились, разобрали парашюты.

- Старшина, олаздываете!

Комэска-1 майор Серебряков критически оглядел строй из кабины старенького "выплиса" и унесся на аэродром. Сегодня он РП — руководитель полетов.

Для курсантов комэска был богом. Летал он лихо, выделял в воздухе такие штуки, что голова кружилась. Характером был грубоват, но справедлив, при случае мог ввернуть в разговор острое словцо. Нас называл желторотиками и сапагами, ворчал, что мы "зеели" его летную службу. Ему бы сейчас самое место на фронте, где добивают врага в небе Германии его друзья по училищу, а ему выпало возиться с нами. Впрочем, бурчал это он беззлобно, больше себе в утешение, мы понимали... И сами мечтали: поскорей закончить учебу - и на фронт.

После истории с Васькой Цветковым он посидел в одну ночь. Васька - верзила саженного роста, скромный увалень - учился в нашей летной группе. Шел он середнячком, зато три его брата были уже известными асами, Героями Советского Союза. И потому, когда наша школа морских летчиков перебазировалась в 1944 году с Урала поближе к фронту, в Поволжье, Цветкову разрешили по дороге "заскочить" на родину, в Москву. И надо же случиться такому! Вскоре в "Комсомолке" мы увидели маленькую заметку "Крылатые братья" и снимок, на котором фоторепортер запечатлел всех четверых. А вскоре Васька разбился.

Было это так. Мы только-только перешли с колес на лыжи, а Цветков со своим инструктором Рябининой "ушел" в зону отрабатывать фигуры высшего пилотажа. Анечка, хотя и носила погоны старшего лейтенанта, командирского вида не имела. Была она маленькой толстухой с веснушчатым лицом. Даже на танцы в клубе ее приглашали редко. Истекли сорок минут, отпущенные на упражнение, а машины все нет. На земле стали тревожиться: ухудшалась видимость, да и горючее, по расчетам, у них подходило к концу. Улетевший в район полета командир звена вернулся ни с чем: низкие тяжелые облака плотно закрыли землю.

Мы сидели в аэродромной землянке у жарко натопленной железной печки и, покуривая немецкие трофейные сигареты, строили всякие предположения, больше печальные. Только Сашка Власов, по прозвищу Курносик, острит:

— Сидят наши Вася с Анечкой где-нибудь на вынужденной да чай с медком поливают. Глядишь, и слюбятся еще...

Никто не поддержал шутки. Все чувствовали: случилась беда. Так и оказалось. После двух дней безрезультатных поисков комэска-1 Серебряков снова вылетел на своем УТ-1. Он вел машину почти у земли, чуть не задевая лыжами жесткий снеговой наст. Как уж там получилось, трудно сказать, только, увлекшись землей, он не заметил, как вышел к Волге и чуть не врубился в опору железнодорожного моста. Но какое-то внутреннее чувство сделало свое: в самую последнюю секунду майор повернул ручку и проскочил под мостом, между двумя опорами: не сразу увидел их.

Васяка лежал на ледяном панцире реки лицом вниз, широко разбросав ноги в тяжелых меховых унтах. Метрах в пятидесяти ближе к берегу лежала Анечка, шелковые стропы нераскрывшегося парашюта тянулись к припорошенным снегом ледяным буграм. Стало понятно: до последней минуты она пыталась спасти машину.

Мы стояли в строю у двух могил — неуклюжие в своих зимних комбинезонах — и угрюмо смотрели, как писарь из штаба прибывал к деревянным памятникам фотографии Васьки и Анечки — московского парня из семьи крылатых и Анны Рябиной, выпускницы Оренбургского аэроклуба.

До аэродрома оставалось каких-нибудь полкилометра. Уже видны были на стоянке наши легкие перкапсовые "уточки" — тренировочные УТ-2. Весело мотаясь на мачте полосатый флюгер: ветер был южный, теплый. У самолетов суетились, снимая чехлы с моторов и заливая бензин, технари. Но ни одному самолету в этот день не было суждено взлететь.

— Стой! Стой! Полетов не будет! — нас догонял дневальный по эскадрилье. Он бежал, размахивая руками, пытаясь что-то объяснить жестами. Догнав строй, он в изнеможении остановился и не сказал — выдохнул: "Война кончилась, ребята...".

- Ура! Качать Филатова!

Бедный Филатов: его опустили на землю чуть живого. Оставив дневального приходить в себя, курсанты побежали в расположение. Что тут творилось! Это был какой-то общий радостный шабаш, какая-то упоительная оргия веселья. В небо взвивались ракеты, офицеры салютовали из ПТ. Кто-то запустил очередь из ППШ. Притащили из канцелярии стол, и с этой импровизированной трибуны майор Серебряков пытался говорить что-то подходящее к такому торжественному случаю. Куда там! Победа! Казалось, все потеряли голову: таков был накал общего ликования. Только время могло ввести его в организованные рамки.

Но оно, видно, еще не наступило, и старшине пришлось трижды потянуть майора за широкий клеш брюк, чтобы доложить среди этого радостного шума: "ЧП, товарищ майор, из штаба звонят: на посту № 3 нет часового".

Вот это был номер! Пост номер три — склад ГСМ. В этот день там стоял курсант Борзых, флегматичный украинец из Фастова.

Четыре летных группы было отправлено на розыски нарушителя устава. На-

шли его там, где меньше всего можно было ожидать — в собственной постели. Борзых мирно посасывал под одеялом. Карабин стоял в изголовье, подсумок лежал на тумбочке. Именно эта идиллическая картина больше всего взбесила старшину. Он сдернул с Борзых одеяло и так гаркнул "Встать!", что с березки у окна казармы посыпались на землю подсохшие от жары листья. Борзых посопел, повернулся на другой бок. Может, ему в эту минуту снился родной Фастов, вишневы сады в белом цвету и некая Тося, чью фотокарточку он иногда показывал ребятам.

Проснулся он на полу, сброшенный с кровати вместе с матрацем. Сообразив, наконец, что к чему, часовой под общий смех вытянулся перед старшиной. В тельняшке и трусах, с тощими, покрытыми редкими рыжими волосами ногами, он выглядел в стойке "смирно" прямо-таки уморительно.

- Вы почему ушли с поста?! — стараясь взять себя в руки, грозно спросил старшина, окидывая уничтожающим взглядом оробевшего курсанта. — За такие фокусы знаете, что положено? Трибунал!

- А я чую: кажут война skinчалась. — с мягким украинским выговором, робяя, отвечивал Борзых. - Я-й соби отсалютовав, тай пишов спать... Победа ж!

— Пять нарядов вне очереди! — замахнулся на полную катушку старшина. Но не успел Борзых ответить:

"Есть, пять нарядов вне очереди", как послышалось властное: "Отставить!".

— Пять суток строгого ареста! — поставил точку у этой истории майор Серебряков, и мы, как всегда, признали — это справедливо. Праздник праздником, а устав уставом.

Правда, уже к вечеру Борзых был на свободе: начальник школы своим приказом объявил амнистию всем курсантам, томившимся на гауптвахте за всякие провинности. И это тоже было справедливо. Все-таки это был особый праздник — Победа!

ПИСЬМО ИЗ ДЕТСТВА

— Валька, чего я тебе скажу...

Петька Керженцев загацил меня в глубь двора, где у водосточной трубы лежали припорошенные снегом чьи-то дрова. Несмотря на мороз, Петька был без шапки. Светлорусый ежик его волос воинственно торпорился, а серые, как у нашей кошки Мурки, глаза заговорщицки щурились.

- Божись, что никому...

- Под салютом Ленина-Сталина. — бросил я вверх правую руку. — Могила.

Петька несколько раз оглянулся. Точь-в-точь, как шпик в кинокартине "Белеет парус одинокий". Притянул мою голову к себе, прошептал прямо в ухо: "У Рыжего отец — враг народа".

"Рыжий" была кличка Випьки из пятнадцатой квартиры, обладателя огненно-пламенного чуба и целой россыпи веснушек, усыпавших все лицо. Его отец был самым главным военным в городе, носил три ромба и длинную нерусскую фамилию.

Вечерами мы, мальчишки, всегда караулили, когда его блестящая паком, буд-

то только что начищенная у сапожника "эмка" лихо подкатывала к дому. Таких, машин в Калинин было всего три. Отец Рыжего легко вылезал из кабины, одергивал ремень и пружинистой походкой быстро взбежал на крыльцо. Тонко цвинькали шпоры на его сапогах. "Серебряные, — хвалился Вилька, — подарок самого Буденного. Еще с гражданской".

В описываемое время комкор Зюзяковенко командовал кавалерийским корпусом и, как старший по званию, был начальником гарнизона. В праздники это он принимал парады. На Советской площади и дальше, до самой гостиницы "Селигер", аккуратными зелеными прямоугольниками выстраивались войска. Комкор картинно гарцевал на своем ослепительно белом жеребце, принимая рапорт командующего парадом и здороваясь с бойцами. Над площадью и прилегающими к ней улицами гулко проносилось троекратное "ура!".

Парад начинали красноармейцы в остроконечных буденовках. Над строем сверкали иголки трехгранных штыков. Подходя к трибуне, они бросали винтовки "на руку", при этом что-то глухо, но так, что все слышали, звенело. Вилька объяснил нам: бойцы вывинчивали шомголы и при ударе винтовки о руку получался такой вот звук.

После стрелков на площадь въезжали конники. Они сдерживали горячившихся лошадей, стараясь не смешивать ряды. Кони были разные — эскадрон совсем белых, за ним — черных, каурых, серых в яблоках. Солнечные лучики весело играли на клинках.

А потом с трибуны, с тротуаров, где стоял сдерживаемый милиционерами народ, раздавались аплодисменты: на брусчатку площади выкатывались танкетки и броневики. Их было немного, но мы смотрели на них, как на какое-то чудо техники, и безоглядно верили что "если завтра война, если завтра в поход, мы сегодня к походу готовы". В то время как раз шел фильм "Если завтра война", из него и была эта песня. В фильме наши быстро наголову разбивали врагов.

— Врешь! — я отшатнулся от Петьки, да так, что свалился с попена и больно ушиб коленку. — Он же герой, три «Красных Знамени» имеет.

— У Борькиного отца тоже три было. — парировал Петька Керженцев, — и все равно забрали. Я сам видел, как приезжал "черный ворон".

В мире происходило что-то такое, что не укладывалось в наших одиннадцатилетних ребячьих головах. Огромный наш дом, где жил старший комсостав корпуса, день за днем пустел. Словно на него налетел какой-то свирепый вихрь. Пацаны, в чьи семьи еще не пришла беда, не знали, как держаться с теми, другими. Их сторонились, не брали в свои игры. А они и не просились, будто и в самом деле чем-то провинились перед нами, отсиживались дома.

Какая-то гнетущая тишина поселилась и в нашей квартире. Не стало привычных веселых застолий с коронным маминым блюдом — фаршированной щукой. Собираясь после работы за столом, родители, как обычно, не делились новостями. Старались быстрее закончить обед. Из семейного альбома куда-то исчезли фотографии многих отцовых друзей.

В эти дни к нам приехала погостить из Киева бабушка. Помню, за ужином она громко возмущалась: "Никогда не поверю, чтоб Гамарник — и вдруг враг. Хоть

стреляйте меня, не поверю!"

Она так горячо и убежденно говорила это, словно Ян Гамарник, прославленный командарм, был ее собственный сын, за которого она могла поручиться своей жизнью.

Отец не спорил. Он держал в руках "Красную звезду", в которой черным по белому было написано, что Я. Гамарник, начальник главного политуправления РККА, боясь разоблачения, покончил жизнь самоубийством. Что думал он при этом?

Однажды очень поздно к нам пришла зареванная приятельница мамы — жена начальника тыла корпуса Моташука. Ее мужа тоже взяли. Уткнувшись заплаканным лицом в руки, безвольно лежавшие на столе, она вздрагивала всем своим крупным телом и тонко причитала:

— Как же так! Как же так! Ведь Ванечка столько лет в партии. Он же честнейший человек! Кому верить? Как жить?

Мать молчала. И отец не пытался утешить гостью. Моташука он знал как дельного работника, старого партийца... Что сказать этой женщине? Что он и сам давно не спит ночами?

Вскоре начались события на Хасане и отца перевели на Дальний Восток.

Первая наша квартира в Хабаровске была по улице Запарина, чуть ниже Серышева, как раз напротив штаба округа. Здесь был небольшой военный городок — четыре деревянных дома, где жили штабные работники.

...С Борькой Решетниковым нас связывала крепкая мальчишеская дружба. Мы учились в одном классе, запоем зачитывались Майн Ридом и Фенимором Купером, сами пытались что-то сочинять. Часто вместе, обычно у меня, готовили уроки.

— Валька, — сказал однажды после уроков Борька. — приходи сегодня заниматься ко мне. Что-то твоя мамаша на меня косо смотрит.

Мама, это точно, Борьку не любила. Ходил он какой-то весь взъерошенный, воспитанностью не отличался, учился так себе. А мама считала, что дружить можно только с хорошими учениками. Короче, она не одобряла наших отношений и все время ждала от Борьки для меня каких-то козней, дурного влияния.

Решетниковы жили в соседнем доме на первом этаже. Когда я пришел к ним, Борькин отец в проходной комнате чистил револьвер. Мы было остановились посмотреть: оружие было предметом самых жарких наших вожделений, каждый уважающий себя мальчишка имел поджиг и саблю, выструганную из старой ножи венского стула. С этим нехитрым вооружением мы разыгрывали во дворе шумные баталии. Играли в чапаевцев, в казаков-разбойников, а иногда заснеженная поляна за домами превращалась в Чудское озеро, и тогда Александр Невский — Борька Решетников вел свою дружину на псов-рыцарей.

Но наши пистолеты и сабли — все это были игрушки, а тут настоящий револьвер. Я даже потрогал один из лежавших на столе патронов.

— Идите, мальчики, идите. Занимайтесь, — прогнал нас Решетников-старший.

Выстрел хлопнул глухо и жестко. Бросив учебники, мы кинулись в соседнюю комнату: Борькин отец лежал на полу, завалившись ногами под стол. Черная

лужа крови заливала пол.

— Костя, Костя! — причитала над трупом Анна Васильевна. — Что же ты наделал, почему?

А мне сразу вспомнился тот, еще в Калининe, разговор о самоубийстве Гамарника.

Вскоре мы переехали на другую квартиру, по Калининской 88. Это был старинный купеческий дом в два этажа. Сейчас здесь размещается народный суд, а тогда, в тридцать восьмом году, дом был жилой. Железное, с узорчатым плетением крыльцо вело в коридор. Его стены были расписаны, как мне казалось тогда, великолепными картинами. На одной были изображены рыбаки, тянувшие из воды полную добычи сеть. На другой — крестьянин в белой, ниже колен рубахе сосредоточенно шел за плугом. Каурая лошадедка тяжело ступала по вспаханной земле.

Наверное, родителям надо было подождать с переездом. В одной комнате в углу лежала куча чьих-то чужих вещей. Здесь было много интересного: ветвистые олени рога, двустовка с красивой чеканкой, старинные часы из желтоватой бронзы, чучело совы и еще что-то, привлекавшее мое любопытство. Но трогать все это категорически запрещалось. Отец повторил мне свой строжайший запрет несколько раз.

На каждой вещи была прикреплена картонная бирка с красной сургучной печатью. Через неделю после нашего вселения подошел грузовик и два красноармейца все это великолепие куда-то увезли. Вещи принадлежали прежнему жильцу, который незадолго до нашего переезда был арестован.

С той поры прошло более пятидесяти лет. Тогдашним одиннадцатилетним мальчишкой уже перевалило на седьмой десяток. Теперь мы хорошо знаем, что означали те страшные дни. А недавно мне напомнило о них письмо, пришедшее из Новосибирска. Писал Борька Решетников. Да-да, тот самый мой хабаровский дружок. В одной из книг о Великой Отечественной войне он натолкнулся на мой очерк о В. И. Пеллере и написал наугад. Борькина одиссея ничем не отличается от трагических историй тысяч семей "врагов народа". Вскоре после самоубийства старшего политрука Решетникова его с матерью выслали на Север, в Котлас. Вернулся Борька в Хабаровск только в 1954 году, один: Анна Васильевна умерла в лагере. Борька закончил железнодорожный техникум, поколесил по всей стране, сейчас обосновался в Сибири, пенсионер. Его письмо, словно прилетевшее из далекого детства, и навело на меня эти воспоминания. Кажется, все это было совсем недавно.



Роман Шойхет

Роман Самойлович родился 30 июля 1931 г. в с.Ефимгарь Николаевской области, в семье колхозника. Во время Великой Отечественной войны Шойхеты жили в Казахстане, а в 1948 году переехали в Еврейскую автономную область, в село Пузино. Здесь окончил школу-семилетку, начал работать, отсюда ушел в армию. После службы трудился в колхозе "Новая жизнь", в отделении "Сельхозтехники" в Биробиджане, а закончив десятилетку, стал сотрудником областной газеты "Биробиджанер штерн". Печатаť свои рассказы и очерки Роман Шойхет начал в 1963 году.

Первое крупное его произведение – повесть "Родная земля" – вышло в Хабаровском книжном издательстве в 1978г. В центре внимания автора – суровая жизнь послевоенного села.

Деревенскую тему в творчестве Романа Самойловича продолжает повесть "Хлебоборьы" (1982г.). Место действия – крупнейший на Дальнем Востоке колхоз, созданный переселенцами-евреями. Прототипом главного героя стал председатель колхоза "Заветы Ильича" Биробиджанского района Герой Социалистического Труда В.И.Пеллер.

Новый роман Шойхета "Час печали и час отрады" (1986) – о тяжелых испытаниях, выпавших в военную годину на долю жителей одного из еврейских поселений на Украине.

Р.С.Шойхет – член Союза писателей России с 1979 года. Его рассказы, очерки печатались в журнале "Дальний Восток", в коллективных сборниках.

Не дожид писатель и журналист Роман Самойлович до своего 62-летия. Смерть застала его в кабинете редакции "Биробиджанер штерн". Он умер за работой, не дописав книгу "Жизнь рабов божьих".



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Летний день набирал силу. Солнце уже припекало по-настоящему, а роса, все еще цепляясь за траву, частыми капельками стекала по листьям и от собственной тяжести срывалась на жаждающую землю.

На полпути к Старопавловке Андрей Петрович Бурунов свернул с шоссе и дальше пошел обочь, одной из глубоких ноздреватых тропок, годами вытоптанных коровами, возвращавшимися с выпаса. Низ щеголеватых брюк его, ноги, обутые в легкие сандаletы, уже через какой-то десяток шагов стали мокрыми, отяжелели, а потом обильными обрывками стеблей, листочков, белыми икринками недозревших семян. И хоть брюки неприятно холодили икры ног, а в носках захлюпало, Андрей Петрович бодро вышагивал вперед, улыбаясь и высокому

тальнику, вставшему теперь после порубок во время войны настоящим лесом вдоль Амура, и густому орешнику, затянувшему неглубокие котлованы по обе стороны дороги, некогда оставленные машинами дорожников. Радовался он веселому пощелкиванию дроздов в тальниках и одинокому голосу невидимой кукушки, яркому солнцу и просто упругому чистому воздуху.

"Экая благодать вокруг! — восхищался Андрей Петрович. — И как я мог все это позабыть? Как мог до сих пор жить без этого! Не пойму!"

В родном селе Андрей Петрович не был уже давно, еще со студенческих лет. Как перед защитой диплома завернул домой на пару деньков, так с тех пор и глаз не казал. Были тому разные причины: и веские, возможно, и совсем неубедительные. После распределения ему, молодому инженеру, поначалу хватало забот. А потом, когда пообвык на заводе, втянулся в работу и с людьми поближе сошелся, нашлись и другие отговорки. Каждый раз, когда подходило время отпуска, получалось как-то, что он не ездил домой. То лето казалось слишком жарким, и ему вспоминалась дорога на восток, долгая и утомительная, то друзья, собравшись веселой компанией, тащили отдыхать куда-нибудь в туристический поход, то экстренная работа поглощала благодатное время отпуска.

Годы незаметно уходили, они складывались один к одному, как кирпичи в добротной стене, отдавая незаметно Андрея Петровича и от родни, и от родимого края. Но главное, жива еще была мать, да, видимо, и не все позабылось, потому-то, махнув нынче и на друзей, и на порядком осточертевший юг, он уселся на владивостокский поезд. И странно, как только мимо вагонов замельтешила убегающая земля Приволжья, Андрей Петрович ощутил в себе волнующее нетерпение. Отдаленной и какой-то равнодушной казалась ему жизнь оставшаяся там, за поездом. Он почувствовал, что виноватость перед матерью, перед братом, последнее время стеснявшая душу, понемногу отлегает.

И вот сейчас, вышагивая по росистой траве, он, не то подсмеиваясь над собой, не то коря, размышлял: "Да-а, Андрюха, уезжал ты, брат, парнишкой, а возвращаешься домой уже Андреем Петровичем".

У самой околицы села, там, где еще при нем стояла ветхая кузня, а ныне лежал пустырь, поросший конским щавелем и лебедой, он круто свернул с тропки и, пробравшись сквозь поределый тальник, вышел к Амуру. Все-таки было еще рановато, мальчишки, с зарей проверившие закидушки, еще не торопились купаться, и Андрей Петрович один с крутизны любовался ласковой гладью могучей реки. А затем, видно, от мыслей, навеянных прошлым, Андрей Петрович, гикнув, как делал бывало в далеком детстве, махнул с высокого обрыва вниз. Устояв на ногах, он радостно засмеялся, затем оглянулся, не видел ли ненароком кто-нибудь его шалости, и, посвистывая, направился берегом к отцовскому подворью.

Еще из-под кручи он заметил белеющий на крыше шифер, а во дворе уж увидел, что и дом тоже выровнялся, стал будто выше и вообще как-то прочно пристроился новыми, обмазанными мазутом венцами на кирпичном фундаменте. "Грinya все хозяйничает", — не то с грустью, не то с легкой завистью подумал он о старшем брате и, торопливо взбежав на крыльцо, внезапно ощутил в груди гулкие удары сердца.

— Ну-ну, — шутиливо пригрозил себе Андрей Петрович и, неслышно пройдя затемненные сенцы, тихо толкнул дверь в избу. Вопреки ожиданию, в доме никого не было, и, малость постояв у порога, он несмело, будто чужой, пошел из комнаты в комнату. Вернувшись назад на кухню, он выпустил, наконец, из рук

чемодан и тяжело опустился на него, словно вокруг и присесть-то было не на чем. Озираясь, разглядывая убранство кухни, Андрей Петрович закурил, но глубокие торопливые затыжки мало успокаивали, и спустя немного, взглянув на часы, он уже с досадой подумал: "Да куда они подевались, в самом деле!"

Однако досадовал он недолго. Вскоре послышались чьи-то шаркающие шаги по двору, потом под ногами певуче проскрипели порожки крыльца — и в дверях показалась мать. Андрея словно пружиной подкинуло с чемодана. А мать, в изумлении и негаданной радости застыв на пороге, прижав к выцветшей кофтенке сухие руки, буре от зноя и труда, смогла лишь прошептать:

— Господи, Андрюша!

С братом Григорием Андрей Петрович увиделся только на следующий день. Накануне так и не дождался. Застрял тот где-то на дальнем поле, пахал под пары. Зато утром, едва проснувшись, он с сеновала, где ночевал, услышал басистый голос брата:

— Ну-ка, где он, пропащая душа?

И потом тут же, во дворе, Григорий долго тискал, хлопал Андрея Петровича большими руками, отступив, любовно оглядывал и снова сжимал в объятиях.

— Будет обниматься-то, связались, чисто малые! — выйдя на крыльцо, улыбочиво ворчала мать. — Ступайте-ка лучше умываться, да снедать будем.

— Потолкуем за столом, — фыркая под струйками холодной воды, сказал Григорий.

— Потолкуем, — спивая из ковши, ответил Андрей Петрович и невольно улыбнулся.

Он знал, что расспросы городского житейского бытия обязательно перерастут в неприятный разговор, что на правах старшего Григорий, отмахиваясь от сердобольства матери, наговорит ему много обидного и, конечно, во всем будет прав. Он все это знал, но сейчас, глядя на родное усатое лицо брата, Андрей радовался, и улыбка, всплывшая на его губах, пристыла, словно прихваченная морозцем.

Однако вопреки намерениям Григория поговорить по душам в этот день им так и не пришлось. Едва братья уселись за стол, как на улице, поблизости от дома, фыркнув двигателем, остановилась машина. Глянув в окно, Григорий досадливо крякнул:

— Ну вот, поговорили!

— Кто это? — от плиты заинтересовалась мать.

— Да Гречишников, кто ж еще! — принимаясь за еду, ответил недовольный Григорий, а брату пояснил: — Председатель наш.

— Доброе утро, Мироновна! Здравствуйте, мужики! Завтракаем? И даже с водочкой? Недурно, ей-богу! Гостю рады?

— Очень! — криво усмехнулся Григорий и, переглянувшись с братом, засмеялся первым.

— Чему смеетесь? Помешал, что ли? — косясь на Андрея Петровича, спросил Гречишников и, слегка вздохнув, словно оправдываясь, добавил: — Так уж мне, видать, наворожили. Всегда кому-то мешаю.

— Да ладно, пустое. Давай завтракать, Николаич, коль уж приволокся. За компанию веселей будет. Да, кстати, знакомься, брат — Андрей.

— Перехватить, конечно, можно, — пожав руку Андрею и усаживаясь на пододвинутый табурет, проговорил Гречишников, — а то я сегодня, можно сказать, еще и не ел. О-о! А ты, Мироновна, че в стороне?

— Она на Андрюху глядит все время, тем и сыта, — за мать ответил Григорий и протянул председателю стакан. — Ты пей, Николаич, ешь да выкладывай, с чем приехал.

— Вот он какой нетерпеливый у вас, — обращаясь к матери, проговорил Гречишников, — не дает спокойно поесть ни себе, ни человеку. Ну что ж, — отстраняя протянутый стакан, продолжал он, — скажу, если до времени попросился. Приехал я забрать тебя, Петрович, на Симонов лог. Погоди, погоди, не перебивай. Дня на два, не больше. Ну вот, ей-богу.

— Да я же только с ночной! Сутки отпахал!

— Знаю, знаю, И все же сено стоговать — во как надб! — и в подтверждение, что с этой работой в колхозе туго, он провел большим пальцем по короткой, мощной шее. — Ну скажи, где я людей возьму, а? Знаешь же, что пресс увезли на Кривой остров? А ты стоговать мастер.

— Могу, — не рискуя, подтвердил Григорий, — еще батька покойный научил. Умел он учить. Но сейчас не в этом дело. Ты мне, Николаич, вот что разъясни: будут у нас когда-нибудь порядки или нет? Жинка с дочерью неделями в лагерях коров обхаживают, Петро днюет и ночует около своего трактора, я тоже дома почти не бываю. А как же мать? Я уж не говорю о хозяйстве, от жизни такой она ведь одичает, а?

— Ничего, вот братан приехал, будет развлекать. Так, Мироновна? — нашелся Гречишников.

— Я тоже поеду, — неожиданно для всех проговорил Андрей Петрович, до сих пор не вступавший в разговор.

— Ты на сенокос?! — удивленно переспросил Григорий и громко засмеялся. — Ну, председатель, держись теперь. Сгрозимся мы ноне сеном.

— Ладно, будет тебе подначивать, — улынулся Андрей Петрович, — там видно будет.

Вскоре "газик", вырвав за околицу, пылил уже по накатанной до блеска проселочной дороге. Мимо торопливо убежали серые от пыли деревья, кусты, изумрудные лоскуты небольших пашен. Не сбавляя скорости, машина, как буюк на волнах, то ныряла в ложки, то с маху взлетала на подъемы. Андрей Петрович, не вникая в суть разговора брата с председателем, молча разглядывал родные места и то угадывал их, то не мог признать.

С того часа, как он вступил на отцовский двор, Андрей Петрович почувствовал, что внутри его начался какой-то процесс, на первый взгляд невидимый, как труд шепкопряда. Он стал чувствительным, временами до слезливости, при виде тех или иных предметов, возвращавших его в отшумевшее детство. В первый день, в ожидании Григория бродя по двору, а затем и по селу, он начал понимать, что жить вдали от родных мест можно, потому что не видишь их и потому что каждодневные заботы как-то все заслоняют. Но вот стоит приехать домой, повидать все — и уже понимаешь, даже не умом, а сердцем, что вновь покинуть это будет нелегко. Что есть какая-то черта, через которую дважды тяжело переступить.

Сквозь думы, как через нахлынувшую дрему, услышал он вопрос Гречишникова:

— О чем дума, если не секрет?

— Да так, знаете ли, разное в голову лезет. Все больше лирика.

— Это всегда бывает и у всех, должен сказать. Щиплет горло, когда после долгой отлучки домой возвращаешься. Я вот, как с фронта пришел, сам-то я из

Заозерного, поверите, вперед не жену, а березку, что на выгоне, обнял. Так-то. А вы, простите, Андрей Петрович, кем работаете там, у себя в городе?

— Инженером, — односложно ответил он, все еще находясь во власти своих мыслей.

— Инженеры-то бывают разные, — не отставая, гнул что-то свое Гречишников. — Одни, скажем, самолеты строят, а другие — стиральные машины лепят. Всекие бывают.

— Понял. Мой профиль — тракторы.

— Да ну? — Гречишников даже обернулся, до того заинтересовал его ответ Андрея Петровича. — Это хорошо! Даже очень, — уже тише произнес он, но почему-то не стал разъяснять, отчего хороша для Андрея Петровича именно эта специальность, а не какая-нибудь другая. Только Григорий, хорошо уже изучивший Гречишникова, незаметно улыбнулся про себя.

Между тем машина, последний раз юркнув с бугра, запетляла между зарослей невысоких верб и вскоре остановилась у двух шалашей, пристроившихся у разлапистого вяза на самом краю огромного лога.

— Вот он, Симонов лог, — обернулся Григорий к брату. — Помнишь?

Этот лог Андрей Петрович помнил. Тут, еще мальчишками, они с Григорием и другими ребятами помогали взрослым в сенокосную пору, на лошадах волочили копны, ворошили валки.

Однажды здесь после небывалого разлива Амура они прямо руками ловили сазанов, щук и сомов, хлынувших за водой в низины. Здесь же, спустя несколько лет, Андрей самостоятельно взял в руки тугий штурвал "Универсала", сменив на тракторе ушедшего в армию Григория.

Много лет прошло с тех пор, и вот теперь, оглядываясь, Андрей Петрович примечал, что лог вроде бы и тот и не тот. Тогда здесь были кочка на кочке и по всей низине то в одиночку, то островками кучились деревья, низкорослый камыш, осока. Косить тогда сенокосилками можно было только выборочно. А сейчас ровный, укатанный, без единого кустика лог лежал перед ним, как огромная выскобленная чаша.

— Видишь, как потрудились, — словно угадывая мысли брата, проговорил Григорий, выбираясь из "газика". — Сперва корчевали, затем кочку срезали, дисковали и укатывали. Два года бились, зато уж сработали. Неплохо, а?

— Недурно, — согласился Андрей Петрович и поинтересовался, куда подевался председатель и долго ли они еще будут тут стоять.

— Да не очень, — ответил Григорий. — Гречишников нас не забудет, не бойсь. Вон, кстати, за нами уж Барышев поспешает.

Андрей Петрович обернулся. И действительно, по-журавлиному переставляя длинные тонкие ноги по кошенине, к ним торопился человек. Приглядевшись, Андрей Петрович признал в нем соседа, завернувшего вчера поздним вечером проводить гостя.

— И ты к нам, Андрей Петрович? — удивился Барышев, пожимая братьям руки.

— Да вот, захотелось мужику размяться, — за брата ответил Григорий.

— Это мо-о-ожно, — осклабясь, протянул Барышев. — Это мы сварганим мигом. — Он направился к шалашам и через минуту вернулся, неся в руках двое вил. — Держите. Значит, так. Ты, Григорий, иди к новым зародам, а вы, Андрей Петрович, ежели желаете, идите вона к бабам, будете копнуть.

Вскоре, став у края непочатого валка, Андрей Петрович приступил к работе. От первой же охалки разворошенной кошенины на него пахло густым запахом

разогретой земли, медвяно-тягучим душком увядшей травы. Нагнувшись, он подхватил клочок сена, несколько секунд мял и нюхал чуть шероховатые пряди, вдыхая всей грудью позабытый аромат, затем откинул его в сторону и долго ворочал вилами, уже ничем не отвлекаясь.

А вокруг неповторимой разноголосицей гудел сенокос. По всему погу разноцветными пятнами пестрели фигуры женщин и оголенных до пояса мужчин. Лихо, с гиканьем и свистом носились верхом мальчишки, волоча вспотевшими лошадыми копны, улежавшиеся за ночь. Невдалеке рокотал новый "Беларусь", и вслед за ним через аккуратные промежутки времени слышался лягз опрокидываемых грабельных зубьев. Повсюду, словно холмы, вырастали все новые и новые копны, а там, где еще недавно лежали валки сгребенной кошенины, темнели полосы непросохшей земли.

Общий ритм работы, давняя проснувшаяся тоска по физическому крестьянскому труду захватили Андрея Петровича. Поначалу он споро орудовал вилами, и мохнатые копны одна больше другой подымались за ним. Но порыва хватило ненадолго. Скоро Андрей Петрович почувствовал, что устает. Начали тяжелеть ноги, с непривычки немели руки. К тому же стало невыносимо жарко. Пот заливал глаза, щипал шею. Он сбросил тенниску, подставив солнцу незагоревшую еще спину. "Эх, попить бы сейчас", — облизывая пересохшие губы, подумал он и услышал крик:

— Э-э-гей, товарищ!..

Он живо обернулся на голос. Работавшая на соседнем валке женщина призывно махала рукой. Сообразив, что зовут его, Андрей Петрович, обрадованный возможностью слегка передохнуть, прислонил к копешке вилы, сдернул с головы тенниску, из которой до этого соорудил подобие чалмы, натянул ее на потное тело и побрел, цепляя усталыми ногами пучки сена.

— Вы, наверно, пить хотите? — блестя из-под крахмальной косынки черными смешливыми глазами, спросила женщина.

— Очень!

— Я и то гляжу, — сказала она, — жара несусветная, сухота, а вы ни разу не передохнули, не попили. — С этими словами женщина подошла к одной из копен, нагнулась и вытащила из ямки небольшой эмалированный бачок. — Пейте, здесь чай заварной.

Чай хоть и был тепловатым, все же хорошо утолял жажду. Это Андрей Петрович хорошо помнил еще с тех времен, когда сам работал прицепщиком и трактористом. Поэтому теперь, припав к бидону, он пил и пил чай небольшими частыми глотками. Наконец, оторвавшись от посуды, он, поблагодарив, вернул бидончик хозяйке. Та, в свою очередь сделав несколько глотков, тыльной стороной ладони обтерла яркий полногубый рот, затем, накрыв бидон крышкой, поставила его у ног.

— Может, еще попьете? — отряхнув косынку и снова закутывая лицо, спросила она, видя, что Андрей Петрович молча разглядывает ее.

— Да нет, и так большое спасибо, — встретившись с ее взглядом, внезапно засмущался он. — Пойду. Работать надо.

"Ну, вот загляделся. Еще подумает бог знает что, — выговаривал он сам себе, направляясь к своим копнам. — Интересно, чья она такая? Надо будет Гриню расспросить".

Потом был обед, недолгий полуденный отдых с купаньем в озере и снова работа до полных сумерек. И, наконец, желанная ночь, без дум и сновидений.

Так прошло несколько дней. За это время Андрей Петрович свыкся уже

немного с нелегкой работой, втянулся в нее. Приятно ему было чувствовать себя окрепшим, поздоровевшим. Иногда Андрей Петрович даже жалел, что работа в Симоновом логу подходит к концу и скоро ему надо будет уехать назад в село.

Но только ли из-за сенокоса ему не хотелось возвращаться в село? Может, за этим желанием смутно крылось что-то другое, более значимое, нежели кратковременная работа виллами? Возможно, хотя сказать об этом что-либо определенное он затруднялся и сам. Ясно ему было только одно: думы эти, появившиеся в первый день пребывания на сенокосе, со вчерашнего вечера, а точнее даже ночи, стали более навязчивыми и сильными.

Вчера после позднего ужина Андрей Петрович вместе со всеми сходил на озеро, искупался, а вернувшись, завалился спать, не поддавшись на настойчивые уговоры косарей забить "козла". Он не любил эту игру, да и, по правде сказать, устал очень. Но сон, сколько он ни лежал, не шел почему-то к нему. Андрей Петрович ворочался на пахучем сене, со злостью шлепал комаров, тонко и нудно зудевших вокруг, и думал, думал. Давно уж разошлись и кончили галдеть самые заядлые "забодышки", давно погасли последние сигарки и тонко храпел в углу неугомонный шалашный балагур Степан Мурга, а Андрей Петрович все не мог уснуть. И тогда, чтоб уйти от докучливых дум, от раздражающего храпа и посасывания, он тихонько выбрался наружу.

Ночь, тихая и теплая, лежала над логом. С белесого неба на примолкшую землю струился зеленоватый свет месяца. И от этого близлежащие предметы как бы чуть расплылись, утратили свою живость, казались нереальными. В чаще кустарника, над Варламовым озером, над самой низиной лога, молочный галдеть самые клубился туман. А поверху тумана, словно клочья разорванных тучек, плыли темные верхушки скирд. Издали очень отчетливо доносились пофыркивание невидимых лошадей, разбредшихся в темноте по логу, и неумолчный треск кузнечиков. В ямке под поварским котлом, пробиваясь сквозь толщу золы, слабо тлел одинокий затухающий уголек.

Достав портсигар, Андрей Петрович закурил, постоял немного, затем завернул за шалаш, к курилке, устроенной по другую сторону вяза. В негустой тени, отброшенной кроной дерева, он заметил сидящего человека. "Ага, — почти весело подумал он, — не один, значит, я маюсь". — И, подойдя поближе, вдруг обрадовался, узнав в сидящей ту женщину, что в первый день поила его чаем.

— Ульяна?! А вам-то почему не спится? Можно присесть?

— Отчего же? — чуть приметно улыбнулась она. — Садитесь, места много.

Поблагодарив, Андрей Петрович присел и, молча попыхивая папиросой, искоса поглядывал на милостивое лицо женщины. Ульяну он заметил еще с той встречи. Он выделил ее из среды других женщин, и теперь ему невольно пришлось на ум, что другие ее тоже выделяли. Ему вспомнилось, как за едой, во время купания в озере, да и вообще в подходящую минуту мужики, молодые и пожилые, бросали Ульяне смелые шутки, а иногда и шлепали грубыми руками по ее круглым, налитым плечам и широкой спине. И странно — она вроде бы и не обижалась на дерзости. Наоборот, на шутки сама отвечала не менее дерзко, причем тут же первая и хохотала.

Андрею Петровичу все это не нравилось. Не нравилось потому, что он вообще не терпел грубости, особенно в отношении женщин. И если бы он хоть раз заметил, что плоские шутки вызывают у Ульяны боль, он защитил бы ее. Но коль она сама их принимала, он не считал себя вправе вмешиваться.

После того, как Григорий уехал с сенокоса, Ульяна как-то неприметно взяла на себя заботы о нем. Во время обедов и ужинов, особенно в первые дни, видя

стеснение Андрея Петровича, она шла к поварихе и возвращалась с двумя мисками: одной для него, другой — для себя. И всегда ела рядом с ним, потихоньку подсовывая что-нибудь вкусное, присланное ей из дому. На лугу она тоже как-то незаметно оказывалась на соседнем валке, а в часы отдыха ложилась неподалеку.

В первый день, заметив на его руках волдыри, с непривычки натертые черенком вил, она смастерила подобие перчаток и заставила их надеть, а в конце недели, смущаясь, предложила постирать пропотевшие майку и тенниску.

Все эти дни Андрей Петрович примечал, что и Ульяна будто бы приглядывается исподволь к нему, она словно бы изучала его. И надо сказать, что внимание этой женщины нравилось ему, льстило, хотя он и скрывал это. "Да, добрая она, должно быть, женщина, простая, — глядя на папиросу, тускло светящуюся в пальцах, думал он. — Хорошая, если бы не вольности эти".

Андрей Петрович повернулся к женщине и неожиданно спросил про то, что не только сейчас пришло на ум, а вертелось на языке уже давно, несколько дней кряду:

— Вы, конечно, извините меня, Ульяна. Но вот я никак не пойму, почему вы позволяете так обращаться с собой?

Она недаром все эти дни приглядывалась к нему и даже сейчас, незаметно следя за его лицом, видимо, ждала подобного вопроса и потому, вздохнув, ответила тотчас же:

— Нелегко мне, Андрей Петрович, поймите. Думаете, мне это не осточертело? Еще как! А что делать? Безмужняя я, вот они и липнут, как лишаи. По первости отругивалась как могла, а потом надоело.

Сказала она это просто, вроде бы и беззаботно, но Андрей Петрович уловил столько горечи в ее голосе, что удивленно взглянул на нее и надолго умолк.

— Ну, что же вы замолчали? — первая заговорила она.

— Да вот, все думаю.

— О чем же, если не секрет?

— Да вот о том, что замуж бы вам надо. Избавитесь тогда от ухаживаний.

— Да? — чуть насмешливо переспросила она и вдруг озлилась: — Смотри, какой добрый! Вы всем так советуете или только мне?

— Извините, Ульяна! — спохватившись, проговорил Андрей Петрович. — Я хотел...

— Не надо, Андрей Петрович, — смягчившись, проговорила она и слегка дотронулась до его руки. — Ничего не надо. Лучше расскажите о себе, о городе своем. Красивый, наверно, город?

После, когда, бесшумно скользя мимо, Ульяна скрылась в женском шалаше, Андрей Петрович еще немного сидел один и удивлялся тому, что рассказал ей. Ведь матери в день приезда не наговорил столько, сколько этой, по сути, малознакомой женщине. Надо же было так излить душу.

А на следующий день, к концу работы, пригнав три бортовые машины, снова появился Гречишников. Поблагодарив всех колхозников, собравшихся с пожитками у шалашей, он объявил, что два дня все могут отдыхать.

Когда началась посадка на машины, Гречишников, приметив Андрея Петровича, спросил:

— А я вас ищу. Ну, как жизнь? Здравствуйте, во-первых!

— Да ничего. Дышу помаленьку.

— Ну добро, коли так. А вообще-то вы здорово поизменились. К лучшему, разумеется. В таком-то виде вас на заводе и не признают.

— Небось не ошибутся, — улынулся Андрей Петрович.

— А вы, должно, сильно любите свой завод? — как-то уж очень серьезно спросил Гречишников, и Андрей Петрович догадался, что спросил он так неспроста. Но он попробовал отшутиться:

— Что значит — любить не любить? Любить можно женщину. А к работе привыкаешь, ну, увлекаешься, наконец. Хотя это, на мой взгляд, у других может быть по-иному.

— Э-э. Не скажите. Не любя, какая же это работа. Ну да ладно, я, собственно, если хотите, подброшу вас домой.

— Чего уж, спасибо. Я как все.

— Садитесь, коль приглашают. Вы же гость, — настаивал Гречишников.

— Ну, спасибо.

Когда отъезжали грузовики с усаживавшимися в них людьми, Андрей Петрович заметил Ульяну и тронул локоть Гречишникова:

— Возьмите, пожалуйста, и ее в машину?

— Что, и вам подморгнула лукавым глазом, а? — хохотнул Гречишников. — Бой баба. Жаль, женат, а то не упустил бы.

— Ну, глупости, — почувствовав, что краснеет, буркнул Андрей Петрович. — Она хорошая женщина.

— А я что? Просто, по правде сказать, мне хотелось с вами наедине поговорить, ну да ладно, возьмем, — и, притормозив машину, Гречишников, перекрывая галдеж, позвал: — Эй, Нефедова, ну-ка, скорее в машину! Давай, давай! Домой подкину...

Большую часть дороги Андрей Петрович отмалчивался, нехотя слушая Гречишникова, на которого прямо-таки снизошел дар красноречия. Видно было, что своими разговорами о хозяйстве Старопавловки он хочет увлечь гостя, разбудить в нем тягу к земле, тягу, по глубокому убеждению Гречишникова, присущую всем крестьянам, и бывшим и настоящим.

Но мысли Андрея Петровича поглощены были другими заботами. Он думал о том, что, может, действительно ему стоит вернуться в родной колхоз, что там, в городе на далекой Саратовщине, после того, как три года назад внезапно скончалась его жена, ничто уж его не держит. Детей у них не было, а на заводе? Ну что ж, его поймут там. Ведь люди же. А работа, ну не будет он строить тракторы, будет их эксплуатировать.

Так он думал, однако все время отмалчиваться было неприлично, и в конце пути он потихоньку начал отвечать на вопросы Гречишникова.

— Долго в селе еще пробудете?

Мельком глянув на Ульяну, прижавшуюся всем большим телом в углу "газика", словно от нее зависел его отъезд, Андрей Петрович ответил:

— Думаю, что до конца отпуска.

— Ха, чудак, — улынулся Гречишников, но затем серьезно спросил: — А скажите, Андрей Петрович, честно только, потому что давеча вы отшутились: нравится вам ваша работа?

— Станный вопрос. Ну, конечно. Иначе я бы давно ее сменил.

— А еще скажите, в деревню назад вас не манит?

Андрей Петрович опять скользнул взглядом по Ульяне, и на миг ему показалось, что он уловил искорку заинтересованности в ее напрягшемся лице. Но так ему, вероятно, только показалось. Потому что Ульяна по-прежнему сидела бе-

зучастная ко всему, и он сказал:

— Не знаю.

— Ага, — сразу как-то успокоился Гречишников и промолчал уже весь остаток пути.

Вскоре въехали в село, и из машины вылезла Ульяна. Проводив ее, молчаливую и статную, долгим взглядом, Андрей Петрович отметил для чего-то, что живет она недалеко от них, всего через несколько домов, и что ходу к ней — пара минут.

Он собрался вылезать у своего дома, но Гречишников, газанув, провез его дальше, через все село, и остановился только у протоки, у построек нового колхозного двора. Здесь председатель сам вылез из машины и пригласил Андрея Петровича. Захлопнув дверцу и поминутно оглядываясь, словно убеждаясь в том, что гость не отстает, следует за ним, Гречишников провел его в большое, беленое снаружи кирпичное строение, внутри которого оказались мастерские. Андрей Петрович был поражен обилием станков в них. Лоснясь еще заводской краской, стояли токарные, сверлильный, шлифовальный и даже фрезерный станки.

На ходу поздоровавшись с рабочими, занятыми у станков, Гречишников повел Андрея Петровича дальше, показывая ему гараж, бокс для ремонта машин и еще несколько хозяйственных помещений. Недоумевая, к чему председатель устроил эту экскурсию, он, наконец, спросил:

— Вы это к чему все?

— Не догадываетесь? — хитро сощурился Гречишников. — А к тому, что хочу вас в колхоз сосватать. Смотрите, какое хозяйство! Пятьдесят один трактор, и какие трактора! Шестнадцать зерновых комбайнов, тридцать семь автомашин! А электростанция! А мастерские! А механизированные фермы, а зерновые тока... Это же богатство, о каком только мечтать можно! А хозяина всему этому добру нет. Главный инженер колхозу нужен. Прошлый год из области тут прислали мальчишку одного по распределению из института, ну, я его и послал для начала механиком в бригаду. Потому что главным быть — это еще не значит носить диплом в тужурке из джерси. Тут и голову на плечах надо иметь, и зубы крепкие не лишни. Трактористы — народ дошлый, промахи не скоро забывают, да и зазнайства не любят. Одним словом, — Гречишников задорно улыбнулся, — недоглядел я за ним. Поработал парень два неполных месяца — на пароход и сиганул отсюда. А в общем, как все-таки? — Он вплотную приступил к Андрею Петровичу, будто беря его на бордаж. — Договорились? Или еще подумаем?

— Подумаем, — в тон ему ответил Андрей Петрович и улыбнулся. Гречишников начал ему нравиться. Что греха таить, нравились ему такие горячие, напористые в стремлении люди. Легко с такими работать. — Подумаем, — повторил он. На том они и расстались.

А день потихоньку угас. На село опустились сумерки. Краешек неба на закате бледно азел, отблески закатившегося солнца золотили темные провалы окон багровыми бликами. Кое-где в избах уже зажглись ранние огни, пахло дымком, вянущей травой и согретой за день землей. У калитки своей ограды Андрей Петрович на миг задержался, глянул на окна Ульяниного дома и, вздохнув, пошел во двор.

Абрам Мордухович

Родился в 1922 г. в г. Смела Черкасской области. В 1933 году с родителями переехал в г. Биробиджан. Через шесть лет закончил среднюю школу №1 и поступил во Владивостокский политехнический институт на кораблестроительный факультет. В 1940 году со второго курса был призван в армию. С августа 1941 по май 1945 – участник Великой Отечественной войны. Он был командиром оружейного расчета, участвовал в боях под Сталинградом, на Днепре, Сандомирском плацдарме, на чехословацкой земле. Дважды был ранен. С боями дошел до Праги. Абрам Ильич – кавалер двух орденов Красного Знамени, ордена Славы III ст., Отечественной войны I-III степеней, двух медалей "За отвагу" и других боевых наград.

После войны вернулся в Биробиджан, заочно учился в Хабаровском пединституте на историческом факультете, в Хабаровской высшей партийной школе на отделении журналистики.

С 1946 года Абрам Ильич работает в средствах массовой информации ЕАО: комитете радиовещания, редакциях областных газет "Биробиджанская звезда", "Биробиджанер штерн".

Старейший журналист А.И. Мордухович печатается в краевых газетах, выступает на телевидении, различных изданиях. Он был членом рабочей группы по выпуску Книги Памяти (к 50-летию Великой Победы). Участвовал в выпуске книги "Наш город – наш дом" (об истории Биробиджана). Ему присвоено звание "Почетный гражданин Биробиджана".



Очерк "ПАМЯТЬ ВОЗРОЖДАЕТ ЖИЗНЬ"

*Пока еще в силе, пока еще с вами,
Какими мы были, расскажем мы сами.*

Это были 30-е годы уходящего сегодня столетия. Стремительная Бира, как и ныне, омывала древнюю сопку (на которой не высилась тогда телевизионная вышка), проникала через пролеты большого деревянного моста, соединявшего городскую сторону с поселком Партизанским; вплотную подходила к заросшим ивняком берегам островного естественного парка – сейчас благоустроенного места отдыха горожан.

В один из дней к перрону неказистого вокзала станции Тихонькая, который размещался в деревянном одноэтажном строении (сейчас в нем медицинский пункт железнодорожников) подошел пассажирский поезд. Остановка – две минуты. Из вагонов вышли прибывшие пассажиры. Среди них был высокий стройный мужчина в шапке-ушанке, нагруженный дорожной поклажей, и подстать ему – привлекательная голубоглазая молодая женщина, ведущая за руки двух детей:

девочку лет десяти и мальчика постарше.

Приехала семья по направлению ОЗЕТА в Биробиджанский район. Столов Эфраим Матусович – будущий начальник планового отдела райисполкома, а Столова Антонина Ивановна – учительница русского языка. Ребятам предстояло учиться.

Дальнейшее мое повествование пойдет о их судьбе, и главным действующим лицом будет мой одноклассник Матиас Столов, который в 1937 году остался сиротой. Сначала его отца, затем мать арестовали (без права переписки), а сестренке Лене люди помогли уехать в Белоруссию, к родственникам.

Директор нашей школы №1 Василий Максимович Корпусов устроил Матиаса в пришкольном интернате, и он начал новую жизнь при негласной заботе класса, в котором учился, и учителей.

Нас, выпускников 1939 года школы №1, в Биробиджане остались единицы. Мы знаем где и когда сложили головы бывшие десятиклассники в годы войны, но судьба Матиаса Столова долго оставалась неизвестной. Считался без вести пропавшим. Но однажды попал мне в руки сборник воспоминаний "Герои подполья", а затем и документальная повесть "Пароль – Брусника". Обе книги рассказывали о подпольщиках и партизанах Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. В той и другой упоминалась фамилия Столов. Только в первой он назывался подпольщиком, а во второй – партизаном. Возможно, речь шла об однофамильцах, но который из них наш Матиас? А в том, что один из них наш, почему-то я не сомневался: получив аттестат зрелости, Матиас уехал в Минск, чтобы поступить в юридический институт.

...Старожилы Биробиджана должны помнить рубленый из толстых лиственниц пятистенок первой в городе школы. Она долго еще стояла, выпирая углом на улице Советскую, рядом с нынешним зданием областного радиокомитета, неподалеку от деревянного мостка, который через протоку вел в парк культуры и отдыха.

В этой школе мы обучались до 1937 года, участвуя в строительстве нового четырехэтажного здания, которое известно всем горожанам. С сердечной благодарностью выпускники первой школы вспоминают своих учителей: истории – Еву Адольфовну Кельман, математики – Сарру Моисеевну Торговникову, биологии – Константина Афанасьевича Мунгалова, физики – Петри Ильича Астанкова, химии – Екатерину Евгеньевну Гайдарович, географии – Михаила Давыдовича Бердичевского, пения – Иосифа Исааковича Руд... Они вкладывали в нашу память не только знания по учебникам, а сверх их. Руководили различными кружковыми занятиями, вместе с нами устраивали различные вечера.

Классы, как коммуны, были дружными, солидарными и в хороших делах, и в озорстве. Ребятам, жившим в интернате, "домашние" ученики помогали как могли и питанием, и одеждой. Давно это было, а запомнилось на всю жизнь. На комсомольских собраниях рекомендовали и обязывали: всем принять участие в строительстве новой кирпичной школы; сдать нормы на значок "Ворошиловский стрелок"; другие оборонные значки – ПВХО, ГСО; создать кружки планеристов, парашютистов; вовлечь мальчиков в балетный кружок; издать школьный литературный альманах.

Мы: взрослые, строили планы на будущее, горячо откликались на все события в стране и в мире – бои в Испании, у озера Хасан, на Халхин-Голе...

Матиас, так звали в классе Матиаса Столова, был в числе лучших учеников, уступал лишь в математике Бенциону Фабрицкому, зато опережал по гуманитарным предметам. После старой школы новая была для нас настоящим дворцом.

В 1938 году нашему классу вручали комсомольские билеты. Секретарь горкома ВЛКСМ Ефим Березовский перед этим беседовал с каждым. Внимательно посмотрев на Матика Столова, он спросил: «Скажи, Матиас, каков твой девиз в жизни?»

- Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! – последовал ответ словами пламенной Пасионарии – Долорес Ибаррури.

- Серьезное заявление... А у тебя для этого хватит мужества?

- Хватит! – тихо, но твердо ответил Матиас.

Мы могли собственными глазами в этом убедиться в феврале 1939 года. Ранним морозным утром мы, курсанты парашютного кружка при Биробиджанском аэроклубе, выехали на районный аэродром для выполнения прыжков с самолета. Инструктор выстроил нас на краю поля, тщательно проверил подгонку парашютных ранцев. Неподдалеку разогревался У-2. Оглядев еще раз наш строй, инструктор спросил:

- Ну, кто из вас решится первым?

- Можно мне? – спросил Матиас и сделал шаг вперед.

Самолет быстро набрал высоту в тысячу метров, сделал разворот. И вот от крыла воздушной машины отделилась черная точка и камнем полетела вниз. Секунда, вторая, третья... Парашют не раскрывался. Маленькая фигурка продолжала стремительно нестись к земле, и вслед за ней билось на встречном потоке воздуха белое пятнышко вытяжного парашютика. Но основной почему-то не раскрывался.

Мы в ужасе съежились и отвернули взгляд от неба, чтобы не видеть трагедии. И только инструктор махал руками и орал: "Запасной открывай, запасной". Мы отлично понимали, что Матиас не мог слышать эти отчаянные вопли. Но вдруг инструктор замолк на полуслове, и мы, как по команде, устремили взоры вверх. Почти перед самой землей над головой Матиаса ромашкой распустился белый купол запасного парашюта.

Все ринулись к приземлившемуся Столову, и только инструктор окаменело стоял на месте и смотрел нам вслед. Матик сидел на корточках, скинув лямки, деловито осматривал ранец основного парашюта. Мы с испугом смотрели на друга, как на пришельца из космоса, и молчали.

- Ну, чего онемели? Запасной, он и есть запасной, чтобы вовремя им воспользоваться, – сказал Матик, пробуя улыбнуться.

В тот день больше прыжков не было. Они продолжились только в марте, после решения специальной комиссии. Тогда и вручили нам обычные значки парашютистов, которые носили на груди с особой гордостью.

Быстротечное время отмеряло неделю за неделей, месяц за месяцем. Я перечитывал литературу о годах Великой Отечественной войны на белорусской земле из книжного фонда областной научной библиотеки. Судьба друга-одноклассника не давала покоя.

И вдруг весной 1978 года мне в редакции "Биробиджанская звезда" передают письмо, адресованное отделу народного образования Биробиджанского горисполкома. Оно пришло из Минска. Декан юридического факультета Белорусского ордена Трудового Красного Знамени Государственного университета имени В.И.Ленина, секретарь партбюро и секретарь комитета комсомола А.Ф.Чигирь, В.Б.Тихина, С.Губский писали: "В 1939 году одну из школ г.Биробиджана закончил Столов Матиас Эфроимович. В том же году он поступил в Минский юридический институт. Во время Великой Отечественной войны Столов М.Э. был активным участником Минского коммунистического подполья, а затем сражался в партизанском отряде, где пал смертью храбрых. Его имя золотыми

буквами занесено на мемориальную доску, торжественно открытую на юридическом факультете Белгосуниверситета..." Затем следует просьба сообщить о Столове, о его жизни в Биробиджане и, если возможно, прислать его фотографию.

Для меня это был несказанный, неожиданный дар небесный, снявший все мои сомнения. Из фотографии 10-го выпускного класса 1939 года сделал репродукцию Матиаса и отправил в университет.

Для окончательного подтверждения находки послал запрос в Минский архив, оттуда пришел такой ответ: "Столлов Матиас Эфроимович, 1922 года рождения, с августа 1941 года принимал участие в деятельности Минского коммунистического подполья, с июля 1942 года числился рядовым партизанского отряда М.Н.Никитина Минской области. Столов М.Э. погиб осенью 1942 года.

В этом ответе сообщался и минский адрес руководителя подполья Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Минска Марии Борисовны Осиповой. Для встречи с ней во время отпуска я отправился авиарейсом в Минск.

Мария Борисовна возглавляла одну из подпольных групп города, созданную из преподавателей и студентов юридического института. Статная, черноволосая, тогда еще очень молодая женщина (подпольная кличка – Черная) объединила под своим руководством коммунистов А.А.Соколову, М.Ф.Мзлакович, комсомолец М.Столова, Н.Дрозд, Р.Бромберга, его молодую жену Галину Липскую и других патриотов. Собрались они в общежитии, и в комнате Бромбергов. До войны Рафа Бромберг руководил институтским джаз-оркестром. Молодежь постоянно ройлась вокруг него, потому гости в комнате молодых ни у кого подозрения не вызвали.

Обсуждался один вопрос: как наладить подполье и начать борьбу с фашистскими оккупантами? Решили сперва проникнуть в институт, разведать обстановку. Кого же послать? По внешним данным – голубоглазый, светловолосый – подходил Матиас. Конечно, он согласился выполнить первое задание.

Ждали его возвращения долго. Наконец, он явился. Нагруженный рулонами бумаги и пачками копиров для пишущей машинки, которой еще не было. Тут же составили текст первой листовки и написали 50 экземпляров от руки. Утром их уже читали наклеенными рядом с приказами немецкой комендатуры. Заканчивалось воззвание к минчанам словами: "Смерть немецким оккупантам!".

К зиме сорок первого группа пополнилась, укрепились материально. В ее распоряжении были радиоприемник, шапирограф, правда, примитивный, собственноручно собранный. Все это позволяло регулярно размножать сводки Совинформбюро. Листовки с новостями расклеивали на дверях домов, витринах частных магазинов. Разбрасывали их на Комаринском рынке и по Лагойскому тракту.

Черная сумела связаться с представителями Лагойского подполья. Стали работать сообща. Теперь стали собирать данные о дислокации немецкой войск, их передвижении. Своих людей Черная разбила на двойки, тройки, пятерки. Каждый имел непосредственное задание. Связь с группами поддерживал Матиас Столов, который довольно свободно разгуливал по городу, организовывал явочные квартиры.

Одна из явок была в доме Марчуков. Хозяин невзрачной хатенки Василий Иванович Марчук, его жена Анастасия Александровна, дочери Клава, Нина и сын Саша помогали подпольщикам. Нине повезло: она устроилась на работу в аптеку и в партизанский отряд, с которым держала связь группа Черной, поступали медикаменты. Все шло, казалось, нормально, но вскоре над Ниной нависла угроза угона в Германию.

В условном месте Матиас встретился с Черной и спросил, как найти выход?

- Пожалуй, есть один выход и он зависит от тебя, - предложила Черная. - Тебе надо жениться, чтобы спасти партизанскую аптеку. К новому человеку найти ключ будет трудно.

Свадьбу справила среди бела дня, принародно, как говорят. Впереди развеселой компании, приплясывая и напевая частушки, шла сама Черная. В руках у нее была четверть самогона. Иногда она останавливала полицейав и немецких солдат и угощала их чаркой "за здоровье молодых". Вслед за ней Матиас вел под руку невесту - Нину Марчук в подвенечном платье. Рукав костюма жениха украшала повязка полицейя. Матиас был предельно внимателен. И эта необходимость даже угнетала его. Он чувствовал на себе и своей "невесте" ненавистные взгляды простых горожан и приезжих крестьян.

После "свадьбы" Столов продолжал свои обязанности связного. Особенно он был бдителен, когда шел на встречу с секретарем подпольного горкома партии Исаем Павловичем Козинцом. С Марией Борисовной стал встречаться реже, ибо Козинец чаще стал посылать Матиаса на связь с партизанами.

Однажды - это было 20 мая 1942 года - Матиас ушел от Черной на встречу с Козинцом, но очень скоро вернулся: секретарь горкома на явку не пришел, а сам Матиас заметил засаду в условленном месте. Черная немедленно приняла необходимые меры страховки для таких случаев. Оказалось, не зря: явку выдал предатель, а И.П.Козинец, его соратник С.И.Зайцев и несколько других подпольщиков были схвачены гестапо. 29 мая их повесили. Они не сказали фашистам ни слова, не выдали подполья. Матиасу пришлось еще больше усилить бдительность, чтобы не нарушать связь с партизанами.

Однажды он привел к Черной командира диверсионной группы капитана Давида Ильича Клеймана (партизанская кличка - Дима Корниенко). Тот передал приказ: организовать из подпольщиков группу по уничтожению кровавого палача, заместника Гитлера в Белоруссии фон Кубе. По приказам этого изверга фашисты убили в лагерях смерти, замучили в тюрьмах и камерах пыток, умертвили в душегубках два миллиона триста двадцать тысяч советских людей, сожгли более десяти тысяч населенных пунктов и двести девять городов.

В группу возмездия вошел и Матиас, но участвовать в операции ему не пришлось: шики "гестапо" засветили связного, и Черная приказала немедленно уйти в партизанский отряд Никитина.

О том, как справедливая кара настигла фашистского палача фон Кубе, рассказано в 50-е годы в художественном фильме "Часы остановились в полночь". Исполнителями приговора были боевые друзья Столова - М.Б.Осипова, Н.П.Дрозд, П.В.Троян, удостоенные звания Героев Советского Союза.

- Наша операция, - сказала Мария Борисовна Осипова, - в ночь с 21 по 22 сентября 1943 года, пусть спустя одиннадцать месяцев после гибели Матиаса, была и мстью за его смерть, за смерть партизанского отряда Никитина, окруженного превосходящими силами фашистских карателей с артиллерией и танками. Целую неделю партизаны сражались во вражеском окружении и сложили свои головы во имя Отчизны...

В биробиджанской средней школе №1 есть мемориальная доска с именами выпускников, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. На этой доске должно быть еще одно имя - Матиас Столов.

Уходит жизнь, приходит память.
И память возрождает жизнь!

Николай Сулима

Подростком познал он тяжелый труд на колхозном поле, на сооружении оборонительных объектов у советско-маньчжурской границы, в угольной шахте Кивдинских копий, на лесозаготовках...

Не обошла и война старшего сержанта Николая Сулиму. Участвовал он в Курской битве, освобождал Украину, закончил ратный путь у польско-германской границы. Был ранен. Отмечен боевым и трудовыми орденами и медалями. За этим сколько пережито, сколько утрат! После Победы началась журналистская жизнь - появились в свет очерки, вобравшие в себя судьбу самого автора, опыт его военных лет. Героями газетных и журнальных публикаций стали также наши земляки.

Около полвека отдал Николай Сулима работе в «Биробиджанской звезде» и на областном радио. Печатался в ряде коллективных сборников.



ПЛЕНЭР

Памяти Дмитрия Алексеичева...

Нежданно-негаданно Семену Романовичу подвалило счастье - стал обладателем несказанно дорогого сокровища. Естественно, сокровища в его персональном разумении. Что до человека стороннего, то для него цена такому приобретению - ноль без палочки. Экая невидаль - передвижной вагончик, каким по обыкновению пользуются строители и, который наверняка еще в застойные времена отслужил свой век, и теперь его законное место не иначе как свалка: Разве вот только какой дачник стрельнет оком: сгодится - не сгодится.

Для Семена Романовича вагончик - сущий клад. И он весьма благодарен своему старому приятелю - главному инженеру одного из строительных управлений города, предложившему взять этот самый давно списанный с баланса вагончик. "Тебе, Романыч, самый раз для жилья на пленэре. А нам - одна морочка. Зря территорию занимает..."

Само собой, Романыч привел его в божеский вид. Застеклил окошки, перебортировал колеса, покрасил. Внутри поставил старенькие стол, раскладушку, шкафчик для продуктов и посуды. Чем не жилище и мастерская!? Теперь не будет, как раньше, корчиться на стылой земле под пологом тесной палатки, прислушиваясь к ночным таежным шорохам.

В его годы пора бы и угомониться. Шесть десятков - не шутка. Уже и пенсию начислили. На торжестве по этому случаю путевкой в санаторий премировали. А он, чудак, знай свое: приключений ищет. Подкатывает лето - сам не свой. Ходит туда-сюда. Все его раздражает. Куда-то собирается. Наконец исчезает на месяц-полтора. Не фанатик ли? А бес его знает, может, он и впрямь из тех фанатиков, которые и технический прогресс, и культуру двигают. Попробуй пойми, разгадай, облачись в его шкуру. Одно слово - художник.

Он всегда остается собою. И когда в муках подбирает краски, а потом с содроганием сердца кладет на полотно тысячный, а может быть, и сотысячный

мазок — вроде бы обыкновенный, но такой неповторимый, что, кажется, без него и картина не состоится. И когда без мольберта или этюдника — у него ни сна, ни отдыха. Глаза, мысли, воображение — все продолжает пребывать в напряжении. Отыскивает, совершенствует формы того, что наполняет мир, расставляет по своим местам на воображаемой картине предметы, прорисовывает их, одевает в холодные и теплые цвета. Да, да, одержимость — всегда попутчик настоящего мастера, будь он художник, музыкант, земледелец, конструктор...

А в сущности своей — он самый обычный человек. И начинал так же, как многие другие. Сперва — художественно-графическое отделение в педучилище. Затем — худфак пединститута. Несметное число этюдов на природе. Картины с законченным сюжетом. Никогда не искал отклонений в искусстве. Легко шел давным-давно проторенной дорогой. Потому что сизмальства уверовал в истину: искусство — зеркало реальности. Иное дело — сумеешь ли достичь правдивого отражения? Сумеешь ли так наполнить полотно цветами, пространством, душой, чтобы оно звенело, источало запахи, манило к себе человека, делало его богаче и добрее, заставляло радоваться и печалиться.

Собственно, тому он вот уже которое десятилетие кряду обучает и детей в изостудии.

И, кажется, неплохо получается. Иначе работы его питомцев не гуляли бы по свету. Где только не побывали ребячьи выставки! Лондон, Брюссель, Нью-Йорк... К осени Токио ждет. Да уж, если на то пошло, совсем не за здорово живешь дали ему звание заслуженного работника культуры. Детей самозабвенно любит. С детьми ему интересно. Но и чертовски трудно. Все дни с ними. В нервах, напряжении. Понятно, собственный этюдник все это время покоится закрытым. И так душа истоскуется за зиму по краскам, палитре, по природе-девственнице, с которой он всегда в общении! Скорее, скорее туда, в тайгу, где пробивается сквозь запомы, камни и топи студеная и очень стремительная речка Бастак!

Так было много раз прежде. Но нынешней пленэр таит в себе особый смысл. Задумка у Романыча такая: не только обзавестись свежими этюдами, но и постараться закончить начатое в прошлом году солидное полотно. Предстоит детально продумать мелочи, сделать компановку, найти местечко и для живого существа, без которого картина, на его взгляд, может показаться менее выразительной.

Известное дело, без вагончика обо всем этом и думать не пришлось бы. Спасибо дружку. Ох, спасибо. Так выручил...

Однако какой живностью лучше усилить композицию?

На сей счет у Романыча два варианта. Первый — журавлиная чета, которая два года кряду прилетает невесте откуда, чтобы вывести на здешних болотах потомство и вновь на время холодов улететь в теплые края. Красивые, благородные птицы. Вписались бы. Но надо понаблюдать за этим. Прибудет ли вновь журавлиная чета в здешние края?

Второй вариант... Бррр. Когда к нему возвращается память, у Семена Романыча — мурашки по коже. О, за этими тварями не надо наблюдать. Достаточно тех считанных минут. Так запечатлелись в сознании, что он, пожалуй, с полужакрытыми глазами способен сделать правдивый набросок.

Предыдущее лето было дождливым, и Романыч старался использовать для этюдов каждый погожий час. Проснулся однажды, а утро выдалось таким прекрасным, что аж голова закружилась. Наскоро ополоснулся речной водой — и айда по росистой тропинке вверх по речушке. Там, шагах в полуста отсюда, пеня, впереди — склоненный к воде огромный клен с нарядной кроной и весь обвитый

лимонником. А дальше — буйство трав, кусты набирающей цвет белой сирени, редкие лиственницы и, наконец, сказочное нагромождение сопок, окутанных в бледно-голубую дымку. На первом плане будет дерево с зеленой листвой, вспененная вода, норовящая сорвать и унести зацепившийся за торчащий корень взлохмаченный клочок травы. На второй — ляжет лужок с лиственницами. Третий план, естественно, голубая даль с сопками.

«Вот бы еще козочки наведались погоститься на лужку! Ух, здорово было б», — подумал Романьгч, растирая на скользкой палитре краски. Сейчас он обозначит кляксами понятный лишь одному ему рисунок. И пойдет, позабыв обо всем на свете, крупницами переносить с земли на холст сотворенное Богом чудо.

Послышавшийся в стороне шорох отрывает его от этюдника. Поднимает глаза и невольно вздрагивает от неожиданности. Шагах в десяти, почти у самого пня, две большие серые собаки. Стоят, широко расставив лапы, внимательно разглядывают незнакомца. Но собаки ли? Вон и хвосты поджаты: не по-собачьи. Загрявки подозрительно вздыблены. Глаза зло мерцают. По телу — холодок. Волки! Но не хочет тому верить.

— Собачки, собачки... В ответ — оскал зубов. Сейчас что-то произойдет. Боже мой! В руках — то одна единственная кисть, обмакнутая в "берлинскую лазурь". Бежать по тропе к палатке? Но тут седьмое чувство в протест: не смей! Волки режут слабых. И он продолжает стоять, зажав в правой руке скользкую от льняного масла кисть и вперив взгляд в серых пришельцев. Кто кого? Выиграет тот, у кого нервы крепче.

Сдались волки. А может быть, и не сдались. Может, они были сыты или настроены на мирную нотку. Или молоды и неопытны. Иди знай. Факт тот, что сперва повернулся и засеменил в сторону дымчатых сопкок зверь поменьше ростом. Следом за ним ретировался и тот, что повнушительнее ростом. Видать, меньшая была волчиха.

Позже, рассказывая эту историю своим друзьям, он пошутит:

— Если бы в те минуты поднесли к зажатой в пальцах кисточке полотно, такое бы получилось модернистское произведение — ахнули б. Так руки дрожали... Переправить вагончик к месту не составляло проблемы. Извлек из запаса на случай пузырь "Столичной", остановил первого попавшегося водителя большого грузового лесовоза, вынул из кармана: — Свезешь?

— За такую награду — хоть к черту на кулички...

Остановился на излюбленном месте. Правда, щекотали воспоминания о прошлых годах. Но где еще найдешь место с такими богатыми видами? Чего стоит одна чета журавлиная, которую Романьгч решил все же запечатлеть на холсте. Только прилетели б. Только понаблюдать за ними, полюбоваться всласть...

Нет, не забыли. Прилетели. Выводок, наверное, подался дальше, на север. А они — вновь сюда. На озера, сплошь заросшие кувшинками и окруженные труднопроходимой марью.

До чего же грациозны, величавы, прекрасны! Как парят над землей в чистейшем воздухе! Шеи вытянуты, ноги отброшены назад, как бы в продолжение обтекаемого тела. Крылья во всю ширь. Почти неподвижны. И лишь гребешки-перышки шевелятся, будто клавиши фортепьяно под пальцами музыканта. Они то и придают движение.

Вот журавли сделали полукруг, полетели в сторону озера: "Курлы-курлы". Как схватить облик этих чудных существ и органически слить с тем, что уже успела перенести на холст кисть, повинуясь его рукам, разуму и воображению?

Ладно, утро вечера мудренее. Пойду приготавливаю ужин. Завтра подумаю.

А утром, к удивлению, чета не появилась. Лишь к полудню где-то в стороне послышался одиночный, такой тревожный крик: "Курлы-курлы". Мечется журавль из стороны в сторону, что-то ищет. Подругу ищет. Где она? Удивительно, как журавль умудрился потерять ее, когда все здесь просматривается за версту?

Когда солнце стало опускаться к закату, подвернул лесовоз с хлыстами. Водитель — тот самый, что буксировал вагончик.

- Здоров живешь, художник. Чайком не побалуешь? Понимаешь, намаялся так...

- Заходи, гостем будешь...

За чаем разговорились. Водитель, по простоте душевной, поведал, что вчера вечером, когда остановился у ручья, чтобы подлить в радиатор водички, подстрелил какую-то большую белую птицу. Подстрелил просто так, от нечего делать. Чтобы ружье проверить... Понимаешь, залежалось за сиденьем... Камнем шмякнулась птица в болото...

- Что ты наделал, человек?..

- Что, птаха расстроила? Ну и жалостливый... Поглядел бы, что на лесоповале делается. За километры вокруг — мертвая зона. Истреблено все живое. А ты из-за этой птицы... Ну, я поехал. Спасибо, художник, за чаек. — И погнал лесовоз по пыльной трассе в сторону города. А Романыч вновь остался один на один со своим вагончиком, этюдником, этюдами, на одном из которых набросаны на скорую руку два парящих в небе журавля. И с тяжкими думами.

А, к черту идилию! Не будет журавлей на полотне! Зачем фальшивить? Ведь в природе, по крайней мере, в нашей, приамурской, и впрямь почти не осталось таких красавцев. Индустрия — вот вражина! Да нет, нет. Не она виновница. Это человек стал таким агрессивным. Надо — не надо, губит дар божий. Волки не тронули. А человек взял ружье и пальнул в милое беззащитное существо. Без надобности. Забавы ради. Эх, жизнь...

Надо что-то предпринимать. Иначе совсем скоро в луну превратим матушку-землю. Тогда хана всем. Но что предпримешь? И другой голос: что-что... Тут каждый обязан внести посильную лепту. И художник — в том числе. А может быть, даже в первую очередь — он, художник. Ведь сколько глаз сопровождает его творения!

И вот уже в глубине сознания зарождается и замысел совершенно новой композиции. Романыч и сам пока не знает, что конкретно будет она выражать. То ли изобразит подлинное лицо браконьера, то ли обнажит раковые метастазы индустрии, вливающихся в зеленые таежные просторы. Еще есть время поразмыслить. Одно несомненно: постарается так написать полотно, чтобы защемило в душе зрителя.

Тем более, что и условия для этого есть. Вон какая на полянке у изгиба речушки прекрасная передвижная мастерская!

ЛИЦОМ К ЛИЦУ...

... Июньский полдень дышит покоем и благодатью. О чем-то шепчет Ока, неспешно неся воды в юго-восточном направлении, чтобы где-то там, у Нижнего, слиться с Волгой-матушкой и уже вместе с нею продолжить путь к морю. Чайки после охоты на рыбешек стабунились на песчаной косе, мирно беседуя о своем. Трудяги-пчелы без усталости порхают с цветка на цветок — затариваются нектаром. А со стороны старицы слабый ветерок доносит запахи свежескошенных трав, парного молока и залежалых водорослей.

Таня, повариха из училищного пищеблока, оказавшаяся моей случайной попутчицей до села Константиново, «лебедя выгнув рукой», мурлычет какую-то пе-

сенку. Белокурая, с чуть вздернутым носом и ямочками на пухленьких щечках, в полурасстегнутой ситцевой блузке и с оголенными загорелыми коленями, показала мне очень красивую. Как же раньше этого не замечал!

Наивно подумалось: в этом селе, давшем России большого поэта, видать, все люди необыкновенные. И повзриха Таня в их числе.

А Таня, будто почувствовала на себе мой взгляд, повернулась ко мне и совсем буднично, даже как-то грубовато, произнесла:

- Ну где ж эти черепахи? Который час ждем...

- Тебе лучше знать, - говорю в ответ, - я человек посторонний. Ты здешняя, своя, - и, чтобы скоротать время, иду побродить по песчаному берегу.

И вдруг этот ландшафт с редким красноталом и сочной травой на пологом левом берегу и серыми кручами на правом предстал моему взору в ином обличье.

Да, да. Там, в районе Букринского плацдарма, Днепр очень был похож на здешнюю Оку. Такое же крутое правобережье. И деревни, оседлавшие его, утопающие в садах, под стать здешним. Только не знал покоя Днепр в ту осеннюю пору сорок третьего. Над ним бесновалась война.

Наша Третья Гвардейская танковая армия переправилась на тот, вражеский, берег вслед за пехотными частями, едва саперы успели навести переправу. Захваченный с ходу маленький кусочек земли, названный впоследствии Букринским плацдармом, в считанные часы оказался перенасыщенным войсками Первого Украинского фронта. Силища невероятная! Ну, теперь, думалось, как шарахнем по гитлеровской обороне - одна труха останется. Вновь, как после Курска, откроется дорога на запад.

Но Букринский плацдарм оказался орешком крепким. Никакой огонь не мог сдвинуть оборону противника. Знать, гитлеровские генералы тоже не лыком шиты: знают, насколько важен для них данный участок фронта. Который уж день, ни на шаг. Лишь все меньше на этом клочке земли остается места для падающих фугасов. И все больше солдат остается лежать меж воронок в пожухлом бурьяне и возле сгоревших танков.

Подкошенные осколками и пулями, они приникли к земле и ждут появления тыловиков в самых разных позах. Кто, скорчившись или раскинув по сторонам руки, кто - прижавшись виском к чернозему, будто прислушиваясь к голосу земли, кто - животом вниз и руками вперед, словно наизготове к очередному броску...

А жизнь живых продолжалась по своим неписаным законам. Люди ели, пили, спали, запасались боеприпасами и драили оружие, рыли окопы, писали и читали письма. Каждый занимался своим.

Что касается меня, второго номера минометного расчета, то я по приказу командира батареи должен был отправиться в распоряжение его заместителя на НП: «Будешь его связным».

И вот, где ползком, где согнувшись в три погибели, пробираюсь туда. Божье мой! Сколько же их, погибших! Кругом трупы, трупы...

Случайно наткнулся на какого-то лейтенанта. Нога напрочь отсечена. Лицо изуродовано. В сажени от него валяется полевая сумка. Дыра на всю длину обнажила нехитрый скarb. Карта, бритва, кусок мыла да несколько черных сухарей с куском американского шпика. Да еще книга в истрепанном черном переплете.

Не соображая зачем, тянусь к книжке, наугад разламываю страницы. Надо же, стихи! Люблю их. Даже сам писал, воображая себя будущим поэтом, конечно, сочиняя несусветную чушь. Кто из нас не переболел этим в школьные годы.

Глаза бегут по строчкам замусоленных страниц. По строчкам, которые, как

мне показалось, излучают неземную простоту, музыку, колдовство. Они, эти строчки, вмиг переносят меня из крошечной бойни обезумевших людей в сказочный мир душистых цветов и нежной любви.

«...Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй - не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.
От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты - моя» - сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру...»
Или:

«...Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Нагорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!...»

На титульном листе имя автора - «Сергей Есенин. 1925 г.»

Никогда раньше не слышал об этом поэте. И не мудрено. Издавали-то его от случая к случаю. В школьных программах не значился. Разве вот только песни распевали на слова безымянного автора.

Мысленно говорю лейтенанту: «Прости, дорогой однополчанин, за вторжение. Тебе ведь теперь все равно. Ни к чему стихи. Ближе к вечеру появятся санитары, унесут, чтобы придать земле. И все на том кончится...»

После, какие бы невзгоды ни довелось преодолевать на дорогах войны, с есенинским сборником не расставался. Вытаскивал из вещмешка, когда садился писать письмо родным или знакомой девушке, у окопной печурки, на призапах. Ребята, даже далекие от поэзии, внимательно слушали стихи. Я видел, как у них вспыхивали радостью глаза, как распрямлялись плечи, как возвращались утраченные силы.

В конце сорок четвертого я в составе небольшой группы молодых ребят был откомандирован из действующей армии в тыл, а точнее - в Рязанское военнопехотное училище. Помнится, в одном из польских городков, через который вела наша дорога, подошел к танкистам, гнавшим «тридцатьчетверки» на передовую, чтоб подстрелить закурить. Один из них увидел торчащую из кармашка моего рюкзачка книжку.

Спросил:

- Что читаешь, славянин?

- Есенина.

- Дай гляну.

Протягиваю. А сам глаз не отвожу от него. Прилип - не может оторваться.

Между тем раздалась команда: «По машинам!»

Танкист взмолился:

- Слушай, славянин. Подари, а? Век благодарен буду. Ну, хочешь, аккордеон дам взамен.

Для размышления не оставалось времени. Уже запускались моторы передвижных машин. А, думаю, где наша не пропадала, хоть и невероятно жаль было книги. Пусть человек довольствуется. Может, в боях поможет. Мне что? Весь сборник, считай, давно в моей голове. Каждое стихотворение на память знаю.

- Бери, танкист, да помни. Аккордеон не нужен. В музыке - ни гу-гу... Медведь на ухо...

В мае сорок пятого, когда прогремела Победа, личный состав училища перевели в летние лагеря, разбитые за Окой напротив села Кузменское. Чуть в сторонке на возвышенности и оно, Константиново, - село, «которое и тем уж будет знаменито, что здесь когда-то баба родила российского скандального поэта»...

Но в тот первый послевоенный год оно еще не было знаменитым. И все же мне так хотелось в него попасть, поглядеть на его дома и людей, подышать его воздухом, погадать, что же вдохновляло поэта в его творчестве.

И вот повезло. И помогли тут мои наклонности к рисованию. Меня постоянно привлекали к оформлению стенных газет и ленкомнат. Потребовалось пополнить запасы красок. Кого послать за ними в город? Конечно же, художника. Вот командир батальона и послал меня. И, между прочим, в качестве презента сутки увольнения отвалил. Ну как же не воспользоваться возможностью побывать в селе, вскормившем большого поэта! Тем более, что и попутницей до Константинова, через которое моя дорога до железнодорожной станции, оказалась хорошая девушка Таня из училищного пищеблока.

- Едут? - подает голос она.

На полузаросшей травой полевой дороге в направлении старицы тархатят две повозки, облепленные говорливыми женщинами. Значит, закончили константиновские доярки в здешнем животноводческом лагере полуденную дойку, теперь вот спешат с наполненными молоком бидонами, чтобы поскорее переправиться на тот берег в огромной лодке. Вместе с ними переправляемся и мы.

И вот река позади. Здравствуй, Константиново! Здравствуй, село большого российского поэта!

А село-то такое заурядное, такое неказистое. Как сто тысяч других на Руси. Огороды, заросшие бурьяном, состарившиеся усадьбы с покосившимися домами и поваленными заборами. Видать, и по нему основательно прокатилась война. Бабы ж одни оставались...

«Не слышно собачьего лая:

Здесь нечего, видно, стеречь.

У каждого хата гнилая?

А в хате - ухваты да печь...»

Да уж ладно. Тут, пожалуй, более кстати эти строчки: «Прохожий, укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна...»

- В общем, так, - сказала Таня. - Мы живем вон на том конце деревни. Есенины - в другой стороне. Освободишься - приходи. Я постелю тебе топчан в саду. А завтра пораньше к утреннему поезду...

- Спасибо, - отвечаю. - Так и поступлю. Беги домой. Соскучились, небось. Я у мужиков, что рубят бревенчатый дом в переулке, справлюсь, как лучше пройти к есенинской усадьбе...

Парень, к которому обратился, буквально ошарашил меня.

- Есенин? - вытирая вспотевший лоб, переспрашивает он и пожимает плечами. - Не знаю...

Ну да, конечно, «лицом к лицу лица не увидеть. Большое видится на расстоянии».

Но тут подходит с топориком в руках седовласый, с изъеденным морщинами лицом старикашка и вносит ясность.

- Сенька - человек пришлый. Про село ничего не знает. Лучше у меня спроси. Уж я-то не один десяток годов живу здесь. Серегу, как облупленного, знаю. За девками ухлестывали вместе... Ну тогда мысленно обращаюсь к нему, укажи, дружок где здесь живет Есенина Татьяна?»

И надо же! Дедуля есенинскими словами переспрашивает

- А ты что, с родни?

- У поэтов всегда родни морс... Дед объяснил, как проще дойти до есенинской усадьбы... Если повезет, - сказал он, - то и саму Татьяну Федоровну застаете. Она часто отлучается в Москву. К дочерям.

Мне повезло. Уже издали я увидел за покосившимся забором на картофельных грядках двух женщин - пожилую и помоложе. Старшей, пожалуй, под восемьдесят. Во всяком случае, многое об этом говорит. И белизна подобранных платком локонов, и походка маленькими шажками, и печаль в выцветших глазах. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет...»

Буквально через несколько лет эта прекрасная российская женщина, так много повидавшая на своем веку, уйдет из жизни. И похоронят ее на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой сына. А сейчас она - живая и не по возрасту здоровая - передо мною. Не сон ли?

Татьяна Федоровна тряпичей вытирает руки. Идет навстречу с еле угадываемой улыбкой на уставшем лице. Что сказать ей? Чтобы к месту? Но она опередила:

- Ты откуда, касатик?

- Из военного училища. А вообще-то издалека. С Амура. Слыхали?

- Слыкала, слыкала. Сережа про многое мне рассказывал...

В ту пору Татьяна Федоровна не была еще избалована частыми гостями - поэта издавали редко. И она внимательно слушала мой сбивчивый рассказ о том, как мы там, на фронте, зачитывались есенинскими стихами, как его строки проникали в солдатскую плоть, как они преображали людей.

Вот так нечаянно разбередил душу матери-старушки. Кончиком платка смахнула слезы.

- Пошли, касатик, в избу. Кваском угощу.

В доме я разглядывал уцелевшие от пожара старые фотографии, пытаюсь вообразить, каким же поэт был в реальной жизни.

Потом я побрел на край села к Таниной усадьбе. Ее мама напоила меня свежим молоком, а Таня приготовила в саду топчан для ночлега.

Она спросила:

- Какие же ты впечатления вынес? В ответ пожимаю плечами. «Лицом к лицу лица не увидеть...» Молодым, наивным был. Не смог унести в памяти столько, сколько было можно.

- Все равно я счастлив, - говорю дрожащим голосом.

Как же! Не каждому суждено увидеть мать, родившую такого большого поэта. А еще вот потому, что держу в ладонях теплую, нежную Танину руку.

Утром чуть свет зашагал на железнодорожную станцию, откуда уеду в Рязань за красками.

... Такая вот история вспомнилась мне в канун дня рождения Сергея Есенина.

Людмила Чесортан

Свои произведения – художественные и репортажские – Людмила стала писать сразу же, как только изучила все буквы русского алфавита. Бурную корреспондентскую деятельность начала в нежном школьном возрасте, публикуясь в молодежной прессе Свердловской области. В зрелой поре, не противясь призванию, закончила Нижне-Тагильский пединститут, филологический факультет и спецкурс при журфаке.

Злодейка-судьба вскоре после этого забросила ее на обременительный руководящий пост в городской газете. Этапы большого пути продолжались в военной и областной печати. Некоторые ее творческие успехи материализовались дипломами, завоеванными в одном Всероссийском конкурсе и двух краевых.

Сейчас Людмила Георгиевна – редактор биробиджанской городской газеты «Улица Ш-А», член Союза журналистов России. Как и прежде, предпочтение отдает живому репортажному жанру, различной тематике с уклоном в криминальную. В свободное от редакторства время фотографирует, сочиняет литературные рассказы в стиле «Мелодрамы Уик-Энда».



Рассказ «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ В ДЕКАБРЕ»

Лес дремал, не шелохнувшись... Снег, пушистый и мягко мерцающий в лунном свете, лежал на темных лапах низкорослых елей, на зябких ветках придорожных берез, возвышался боярскими шапками на пнях, пухлыми одеялами покрывал поваленные ветром корявые стволы старых деревьев. И сухие высокие травы стояли, густо забросанные белыми хлопьями. Всюду долгожданный поздний снег... Чистый, первозданный, не потревоженный даже ветром.

Голубоватые, размытые тени от высоких стволов косо перечеркивали узкую проселочную дорогу. Заледенелые колеса «Тойоты» гулко амортизировали в глубокой колее, накатанной осенью по мягкому грунту.

Ночь была, как на заказ – сказочная. Как в красивом кино, снятом в павильонных декорациях старомодным оператором без выкрутасов модернизма и абстракционизма.

Сергей, засмотревшись, собрался остановиться перед последним крутым поворотом на трассу... Так он и сделал. Вышел из знойно нагретого салона, прислушался к тишине, которую ничто не нарушало. Даже лай собак из пригородного поселка, куда он доставил пассажиров, приглушило расстояние и привычный ровный гул оживленного междугородного шоссе затих до определенного утреннего часа. Ни люди, ни звери, ни птицы, ни лошадиные силы моторов не властны над ночным спокойствием мироздания...

Настроение было лиричным. Давно Сергей не чувствовал такой умиротворенности в душе, отрешенности от повседневной маяты. Все суетные мысли, совсем недавно одолевавшие его, казалось, улетучились без возврата. Нет, не напрасно он решил от одиночества и тоскливости в эту ночь «потаксовать»...

Получилось так, что на предпраздничные дни и первую неделю нового года он остался один. Жена с дочкой уехала к старикам-родителям, одновременно

занемогшим от какой-то инфекции, друзья-товарищи о нем не вспомнили, не пригласили к семейному веселью, а от холостяцких компаний он сам давно отошел без сожаления. Дела, дела, заботы-хлопоты, погоня за рублем и благополучием не оставляли времени на дружбу. Бешеный ритм на извилистых тропах мелкой коммерции, ночные смены частного извоза до предела заполняли сутки. Ни оглянуться назад, ни взглянуться вперед, ни в себя заглянуть...

Вдруг впереди за сотню метров с дороги метнулась в кусты какая-то легкая тень. Не поймешь - зверь, человек? Может, снег тяжелой пеленой упал с густой кроны высокого дерева...

Сергей поспешно сел за руль, намереваясь выбраться, наконец, на трассу. Но любопытство взяло верх.

Притормозив у кустов, он заметил свежие глубокие следы, уходящие в полумрак поляны, и, странно, будто что-то воздушное чуть заметно копыталось, зацепившись за колючую ветку. Ажурный шарфик, легкий вязаный платок, серебристо-серая «паутинка»? Сергей даже глаза резко зажмурил, стараясь прогнать видение. Ну не лесная же фея затеяла игру с одиноким путником в ночи? Что это с ним сегодня? Что за наваждения преследуют?

Сергей несколько минут, затаив дыхание, всматривался в глубину поляны, вслушивался... Стало не по себе. Даже жутковато. Что там? Кто? Да какая, собственно, разница? Лучше поскорей убраться восвояси отсюда, из заколдованной тишины и мелькания теней. От греха подальше...

В глубине души посмеявшись над собственной мнительностью, он забрался в салон, сбывая снег с сапожек... Из кустов послышалось шуршание, на снегу возник силуэт. К нему, по колену утопая в снегу, пробирался человек... Хрустящая женская фигурка в рыжей шубейке. Уж не привиделось ли все это от тишины, от лунного света! Вот мистика...

Привидение материализовалось в десятке шагов и обрело дар речи:

- Подождите, не уезжайте, не бойтесь... Если вы в город, возьмите меня с собой. Я в такой ситуации оказалась... У меня есть немного денег... Я заплачу по счетчику. Я уже и не надеялась, что тут в такой час может оказаться такси...

- Да садись уже, сестренка! Не бросать же тебя, рыженькую, в глухом лесу, волкам на съедение. Что это ты, как лисичка, по кустам прячешься? Откуда, если не секрет? С неба свалилась? А может, ты из новогодней сказки? Снегурочка? Тогда где же твой Дед Мороз?

Обрадовавшись неожиданной полутчице, он засыпал ее вопросами, стараясь получше рассмотреть. Но рыженькая молчала, отогреваясь, шмыгая носом, забюро кутаясь в свою легкую лисью шубейку, кашляя и чихая, закрывала лицо длинным белым шарфом.

- Похоже, зимняя засада кончится для лисички простудой. Не хочешь согреться?

Незнакомка испуганно вскинула на него глаза и схватилась за ручку, пытаясь открыть дверцу.

- Да что ж ты, девушка, такая пугливая? На ходу собралась выпрыгивать? Ты неправильно меня поняла. Я предложил тебе коньчком согреться... Всего-навсего. И чай в термосе... С лимонником. Вот... наливай. В бардачке кружка запасная есть. Чистая, новенькая. Пей, не стесняйся. Да не бойся же ты меня, Снегурочка. Хочешь, документы покажу? Вспомни, ты же сама в машину попросилась.

Когда показались огни городских кварталов, Сергей спросил:

- Мадам, вас куда доставить?

- К вокзалу.

- Что ж так? Я могу прямо к подъезду.

- К вокзалу.

- Боитесь, что на чашечку чая попрошусь? Или муж ревнивый у порога ждет?

Так куда?

- К вокзалу.

- К вокзалу так к вокзалу. Денежки-то свои спрячьте. Не пересчитывайте.

Счетчик-то я давно отключил.

- Акты такой благотворительности могут разорить не только вас, но и весь таксомоторный парк. Не будем играть в благородство. Вы меня, действительно, выручили в трудный момент жизни: подобрали среди темного леса, отогрели чаем, коньяком угостили, бутербродиком поделились, разговорами не очень надоедали. Спасибо. Очень признательна. Но вы - такси, я - пассажир... Сколько с меня?

- Ну вот, - подумал Сергей, - молчала-молчала, лишнего словечка не проронила... А тут вдруг - такая тирада. Я-то к ней всей душой...

Женщина впервые посмотрела ему прямо в глаза. Молча, вопросительно. Зелеными красивыми глазами.

- Да не волнуйтесь вы за судьбу таксомоторного парка. Я ведь частник, что хочу, то и делаю. Очень приятно было с вами, вы мне «холостой» рейс скрасили. Ваше общество согрело душу. Не против был бы продолжить знакомство.

Тут Сергей спохватился:

- А кстати, мы ведь не представились друг другу. Я - Сергей...

Он только сейчас заметил, что почему-то перешел на «вы» и чувствовал скованность в общении, даже отчужденность. Улетучились игривая снисходительность, покровительственное отношение к таинственной незнакомке.

Была в этой женщине какая-то загадка. Он ей в дороге чуть ли не всю свою биографию рассказал, на жену пожаловался - вот, мол, бросила перед самым романтическим праздником, не дорог, значит, ей, не мил. А ответной реакции так и не получил. Молчала Снегурочка, как партизанка.

Она все еще смотрела на него, но как бы уже не видя. Горячей рукой медленно провела по его щеке и молча, не захлопнув дверцы салона, вышла, медленно поднялась по каменным ступенькам к вокзалу, с трудом открыла дверь зала ожидания и не оглянулась...

Сергей, покружив немного по городу и не найдя выгодных пассажиров, поехал в свой «бумагинский» микрорайон. Но что-то его беспокоило.

- Ушибла меня своей загадочностью эта лесная клиентка, - подумалось с грустью, неопределенной надеждой на продолжение знакомства, - даже имени своего так и не назвала. Как будто шпионка, как секретный агент... Да как это я, бестолковый, не подумал о том, что она, наверное, приезжая, что ей и переночевать-то негде. Единственное пристанище - вокзал. И простудилась она капитально. Температура, наверное, поднялась, щеки так пылали и глаза стали сонные...

Сергей круто развернулся и через минуту был на вокзале. Привалившись к спинке деревянного дивана в дальнем углу у батареи, сидела его странная пассажирка. У нее, действительно, была температура, тяжелое дыхание поминутно прерывалось кашлем.

...Три недели Марина пролежала на больничной койке. Сергей навещал ее дважды в сутки - рано утром и ближе к ночи. Приносил фрукты, что-нибудь «горяченькое». Знакомая санитарочка укоризненно поглядывала на него, когда он, не стесняясь окружающих, нежно гладил Марину по голове, согревал дыха-

ем ее все еще зябнувшие руки, целовал глаза, кормил с ложечки, приносил дорогие лекарства. Часто меняющиеся соседки по палате удивлялись, прогуливаясь по коридору:

- Вот бывает же такая любовь! Он ее лет на двенадцать моложе, а как с ребенком нянчится. Везет же некоторым. Нет, не похожи они на мужа с женой. Мужья, хоть и позаботятся, а нервозности скрыть не могут. Любят-то они нас здоровенькими...

День, когда Марину выписали, был хмурый, но теплым. На дворе стоял январь, а в душе у Сергея — то ли осень, то ли весна. Сердце разрывалось на части от чувства вины перед женой и непреодолимой нежности к своей декабрьской пассажирке, неожиданно ставшей родной и близкой.

Повез он Маришу на ту поляночку, где подобрал декабрьской ночью. Разожгли костер, устроили прощальное пиршество с ликером и коньяком. Снегурочка-лисица была действительно старше Сергея, но он этого не ощущал. Смешливая, непрактичная, житейски инфантильная, доверчивая и несчастная.

Свое декабрьское приключение, разговорившись на прощание, преподнесла своему спасителю в ироничных тонах. Приехала она, дурочка, на встречу Нового года к своему жениху, с которым познакомилась по переписке через службу знакомств. Ключнула на его красивые обещания, представлялся он ей "каменной стеной", надежной опорой, благодаря которой станет легче груз житейских забот, лежащих на ее хрупких плечиках. Но увы... Жених оказался не тем человеком... К тому же в компании из-за нее началась ссора, приревновал ее жених к женатому другу. Мужчины схватились "за грудки", а женщины накинулись на нее с упреками: "Придетела птичка наших мужиков с ума сводить, без тебя тут соблазнительниц хватает!".

Разгорался крупный скандал. Вот и сбежала, не подумав о том, что рейсовые автобусы в поздний час уже не ходят, что и по трассе до города неизвестно каким транспортом добираться... А на вокзале, в камере хранения, у нее осталась сумка с вещами, деньги, обратный билет, документы. Жених-то ее тогда не встретил, телеграмму, видите ли поздно принесли. Вот и отправилась к нему налегке.

- В общем, Сережа, неромантическая история новогодняя со мной приключилась.

- Зато со мной — романтическая... Встретил тебя — раз. Узнал, что жена изменяет, — два. Она, оказывается, не только к родителям на праздники ездит. Друга детства своего навещает... Так что бог в ту ночь нас с тобой в объятия друг другу из чувства справедливости толкал.

...Январский хмурый день влился к закату. Ветер шумел в вершинах деревьев. А на заснеженной поляне, окруженной высоким кустарником и густыми низкорослыми елочками, было тихо. Догорал костер. Фруктовый аромат ликера, разлитого в тяжелые хрустальные бокалы, смешался с запахом хвои. По щеке притихшей Снегурочки скатилась крупная слезинка. Наверное, от январского ветра...

Блуждающей волной радиоэфира прибило тихую мелодию. Чей-то мягкий голос напевал грустные слова:

Примерь счастливое лицо, оно тебе идет...

И знай, что если не сейчас, то завтра повезет!

Примерь счастливое лицо, не смей грустить, не смей!

Любовь проходит и тогда, когда ее совсем не ждешь.

Примерь счастливое лицо, оно тебе идет...

Очерк "Мы, подкидыши, - стервы эпохи" ДЕВУШКА С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Руслана еще совсем недавно была "дальнобойщицей", придорожной девушкой, полубродяжкой, живущей в основном на отрезке центральной автотрассы от Биробиджана до Владивостока.

Цель ее существования на том жизненном этапе была вполне определенной – скрасить тяготы дальнего рейса какому-нибудь водителю и получить за это денежное вознаграждение. Ну и просто покататься хотелось девочке, мир повидать, с интересными людьми пообщаться, вырваться хотя бы на время из безрадостного семейного круга.

Она понимала, что слово "семья" к ней применительно весьма условно. Обретались они с матерью, сколько помнит она себя, в тесной комнатухе шумного общежития на окраине города. Время от времени мама "выходила замуж". Эти "выходы" были разнообразны по форме, но одинаково неудачны по итогу: то она пропадала на холостяцкой квартире нового приятеля, то "помогала на огороде" какому-нибудь вдовцу, то приводила на свои "квадраты" в "мужья" встречного-поперечного.

"Приводы" случались чаще, чем "выходы". И тогда "семейная" жизнь становилась чересчур веселой. Комната наполнялась новыми друзьями нового мужа, бутылками, скандалами и мерзкими запахами папирос, набитых коноплей. Гости то были далеко не аристократического происхождения.

А "разводы" приносили полное разорение. С уходом временного супруга интерьер их жилища пустел в буквальном смысле слова. Приходящие мужья и их "корефаны" имели одну общую привычку – брать на память о кратковременной дружбе и любви что-нибудь из домашней утвари или одежды. Однажды даже этажерку унесли.

Так что Руслана радовалась, когда мать исчезала на несколько дней, а то и недель, оставив ее одну, без присмотра. Когда кончались остатки еды, девочка занимала у соседей деньги или ходила питаться к подружкам.

Вот из такого "семейного" круга она, шестнадцатилетняя, и вырвалась в "дальнобойщицы".

А началась эта полоса жизни со знакомства с перегонщиками "японок". Возле киоска, где Руслана с подружкой Мариной ела мороженое, их "закадрили" трое взрослых парней, угостили пивом, конфетами. А потом смешливые девчонки согласились пойти "на природу".

Мероприятие под кодовым названием "бережок" прошло удачно, укрепило дружбу. Единственное огорчение вызвала предстоящая разлука. Но тут самый находчивый, по имени Стас сделал конструктивное предложение:

- Девочки, мы едем до Свердловска, нам нужна группа сопровождения, вы нам подходите, только найдите третью подружку – нас-то трое. Перегон закончится – погуляем на Урале, у нас там есть база отдыха. А может, даже на юга махнем на полмесяца. Денег, девчата, получим! Два мешка. Вашу долю выдадим сполна, не вычтем за питание, ни за что другое. По-джентельменски все расходы возьмем на себя. Соглашайтесь!

- Ну а что не согласиться? Первый в жизни заработок намечался, дальнейшее путешествие, сказочные "юга", романтические приключения, незнакомые края.

Да и парни были "прикольные" и не очень старые. И к тому же свободные, еще в начале общения заверили:

- Вы, крошки, нас не бойтесь. Мы хороших девочек не обижаем. К тому же у нас ни жен, ни невест пока что нет...

В последнем заявлении содержался приятный намек на серьезные планы. Девочки о замужестве пока не думали, но все же...

Ехали весело, дружно и сытно. Масса впечатлений, знакомств. Во время длительных остановок, когда "дальнобойщики", сгруппировавшись на ночь где-нибудь на обочине, чтобы легче было совместными усилиями отбиваться от рэкетиров — хозяев больших дорог, садились у общего костра. Руслана, Марина и Дина пользовались всеобщим вниманием. "Дальнобойщики" интересовались у Стаса:

- Что, новеньких завербовал? Ура, в нашем полку пополнение! Только они, наверное, малолетки... Ой, смотрите, парни...

На фоне других "девушек сопровождения" Руслана, Марина и Дина выглядели выигрышно.

- Ну просто гимназистки, - восторгались ими мужчины, - совсем неизбалованные, домашние девчужки-пичужки!

Несмотря на всеобщее восхищение, "гимназистки" где-то в Сибири вдруг приуныли. Сообразили, наверное, что дома их потеряли уже, ищут-плачут, в милицию заявили. А с милицией дел иметь не хотелось — был печальный опыт контактов. В общем, Уральских гор подружки так и не увидели и на жаркие пески у синего моря тоже не попали. Когда Стас как самый старший выяснил, что ни одна из них не уведомила родителей о своей "командировке", не отпросилась под благовидным предлогом, он не на шутку рассердился:

- Мы же договаривались! Я же вас учил, что дома сказать! Почему не послушались? Почему соврали нам, что вам уже по восемнадцать лет? Не обижайтесь, девочки, но мы порываем контракт. Отправляем вас обратно.

"Контрактниц" не обидели. Накупили им шарфиков, брошечек, колготок, дезодорантов, дали еды и денег на железнодорожные билеты. А в последний момент, можно сказать, вообще акт милосердия проявили: в придорожной "таверне" познакомили их с четырьмя приморскими парнями, которые следовали в "восточном направлении". Девочкам с ними было по пути.

Новые знакомые тоже не обидели. В целости и сохранности доставили до своего конечного пункта — до Владивостока. Оттуда дружная троица телеграфировала домой и спокойно позагорала в веселой мужской компании в районе Сад-города.

Домой возвратились с деньгами (по их детским понятиям — большими) и опять по трассе, с ветерком, опять с новыми друзьями. Теперь они уже сами знали, где, как и к кому проситься в попутчики.

Позднее Руслана с подружками побывала еще в нескольких дальних рейсах. Потом из-за какой-то ерунды поссорились, раздружились всерьез и надолго. Но в одиночное плавание она пускалась часто.

Мать одобрительно относилась к ее "работе", имея смутное представление о "профессии" повзрослевшей дочери. Важен был результат. А он радовал. Девочка "прибарахлилась", без денег не сидела, иногда кое-что в дом несла: про-

дукты, выпивку, сувенирчики в виде разных безделушек, создающих видимость уюта и комфорта.

Руслана, не обремененная особой задумчивостью, со временем все же осознала бесперспективность и опасность своей новой профессии – придорожные девушки часто попадали в рискованные ситуации. После нескольких "переделок и заварушек" она перешла на оседлый образ жизни.

По примеру матери стала регулярно "выходить замуж" в надежде удачно устроить собственную судьбу. Временами ей везло – сейчас в Биробиджане много состоятельных мужчин, регулярно покупающих интимные услуги. У новых русских – новые нравы.

Но Руслана не высоко котирировалась и постоянного приюта так и не нашла.

А недавно приключилась с нею неприятность, которая чуть было до скамьи подсудимых не довела.

В районе двух вокзалов она случайно встретила с давним знакомым – коммерсантом "Николя" (это она его так окрестила, переименовав на французский лад: как-никак девушка в "обществе" повращалась). И пригласил ее этот Николя на квартиру по улице Калинина...

Когда хозяин надоел ей приставаниями, Руслана незаметно добавила ему "в рюмочку капучелку клофелинчику". Чтоб успокоился. А когда доверчивый Николя "подкосился" и уснул тревожным сном на полу у порога (этот криминальный эпизод был описан в одном из номеров "Биробиджанер штерн"), она не устояла против соблазна. Прихватила в свою кошелку разные мелочи из холодильника и шкафов да немного деревянных – сотен шесть-восемь.

Хорошо, что Николя с заявлением в милицию не побежал, а сам разыскал похитительницу добра и потребовал возмещения ущерба. Разборку закончили полюбовно. Деньги она вернула, "мелочи" решили считать подарком.

Правда, Николя на какие-то "баксы" намекал: вот, мол, в домашнем тайнике ещё зеленые лежали, а после ее визита исчезли. И опять милицией и судом пугал.

Но Руслана имеет подход к "мужскому полу": не таких выдвала. Так что Николя отвязался. А Руслана теперь "за ум берется" – пытается трудоустроиться на постоянной основе и личные отношения с другим знакомым коммерсантом довести до логического конца, то есть до замужества.



Ефим Кудиш

Он родился 1 октября 1924 года на Украине, в п.Чуднов-Волынске Житомирской области, однако по праву считает себя и дальневосточником, потому что его жизнь тесно связана с судьбой нашей автономии, где проживает с 1942 года. Смидовичским райвоенкоматом был призван в армию. Гвардии старшина 295 стрелкового полка 183 Харьковской Краснознаменной, орденов Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии прошел от Сталинграда, через Курскую дугу, форсирование Днепра, освобождая города, села Украины, Польши, а закончил ратный путь в Праге – Чехословакии. Он кавалер восемнадцать боевых орденов и медалей, а также юбилейных наград.



После Победы вернулся в Смидович, где работал редактором районного радиовещания, секретарем районной газеты, сотрудничал в областных газетах и крайтасс, собирал материалы по истории района и открыл первый на Дальнем Востоке народный краеведческий музей.

Ефим Иосифович работал заместителем редактора обллученской районной газеты "Искра Хингана", ответственным секретарем областной газеты "Биробиджанер штерн". Здесь подружился со многими известными литераторами – не только местными, но и приезжавшими сюда из Москвы, Киева и других городов страны. Это дало ему возможность впоследствии собрать материалы для книги "Литературное наследие ЕАО" (выпуск 1) – о писателях и поэтах, писавших на идиш.

Одновременно Е.Кудиш работает над созданием музеев при Биробиджанском медицинском колледже и областной больнице. Он автор десяти книг по истории Еврейской автономной области, принимал участие в выпуске Книги Памяти (к 50-летию Великой Победы). Совместно с М.Жирдецкой выпустил историко-документальный сборник "Они защищали родину" (жители ЕАО в годы Великой Отечественной войны). Ефим Иосифович участвовал также в выпуске справочно-энциклопедического сборника "Все о ЕАО". Он автор-редактор серии плакатов "Никто не забыт, ничто не забыто", лауреат городской премии Биробиджана в области литературного творчества.

Ефим Иосифович завершает книгу "Почетные граждане Еврейской автономной области и города Биробиджана". К 55-летию Великой Победы выйдет из печати его сборник рассказов и очерков "Биробиджанцы на фронтах Великой Отечественной".

За активную работу в ветеранской организации Еврейской автономной области, плодотворную краеведческую деятельность в сфере литературной и театральной жизни города Биробиджана и области губернатор ЕАО Н.М.Волков наградил Е.И.Кудиша Почетной грамотой.

Н.Филипкина

Воскресший под освенцимом

Не спится мне иногда по ночам. И подчас вспоминается 25 января 1945 года, когда войска нашего 1-го Украинского фронта освобождали Освенцим...

Освенцим. Название этого старинного польского города носил кровавый лагерь смерти, созданный гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Во всех нацистских лагерях погибло около десяти миллионов – в Освенциме. То, что я увидел когда-то своими глазами, переступив ворота лагеря, а потом особый сектор, где истребляли детей, переполнило мое сердце ненавистью к фашизму.

Ценой больших потерь, метр за метром, освобождали мы огромную территорию лагеря. Но фашисты стремились во что бы то ни стало отправить в крематорий вагонетки с телами погибших детей.

– Старшина! – окликнул меня майор Туманов. – Видите, в правом углу штабеля свешелятся детские ножки. Живой, значит! Действуйте, мы вас прикроем!

С трудом вытащил я тело подростка из того страшного штабеля. Но пока я добирался до него, глядели на меня в упор другие детские глаза, уже неживые... Сердце разрывалось от того, что мы тут видели. Я коснулся холодного личика, прикрыл веками глаза. Они больше не глядели на меня, они больше никогда не увидят жизни...

В этот день у меня поседели виски. Я уже покинул лагерь, а мне все казалось, что вслед мне смотрит мертвая девочка.

... Прошло несколько дней после боев, и в минуты передышки я решил навестить ребенка, которого нам удалось спасти. Медицинская сестра Тоня, увидев меня, сказала:

– Вот хорошо, что пришли! С утра до ночи ваш подопечный спрашивает: когда придет старшина...

И вот – встреча. На белоснежной кровати лежал, поверьте мне, настоящий скелет, лишь под тонкой кожей колотилось сердечко. Блестели карие глазки. Я помню слова капитана медицинской службы:

– Даю пять минут, не больше...

Ребенок смотрел на меня в упор, я еле услышал его слабый голосок: "Спасибо!"

Потом я не видел мальчика более двух месяцев. Встретились, наконец, на кухне. Мальчуган был в армейской форме. Увидев меня, он произнес:

– Разрешите представиться: рядовой Ефим Кудиш.

Я ушам своим не поверил. Заметив мое смущение, мальчуган улыбнулся:

– Теперь ваше имя – мое. Я ведь сирота круглый, все мои родные погибли. А вы – мой спаситель!

– Нет-нет, – стал я возражать. – Первым тебя заметил тогда майор Туманов, а я только выполнил приказ.

Потом мальчуган поведал мне свою историю. Мать и отец его воспитывались в детском доме, оба не знали ни родителей, ни родственников. Получили образование. Мать стала учительницей начальных классов, отец – офицером-пограничником. Жила семья на границе с Польшей. Когда началась Великая Отечественная война, отец мальчика руководил отправкой семей военнослужащих в тыл. До отправления эшелона оставались считанные минуты, когда внезапно на станцию налетели немецкие самолеты. Рвались бомбы и рядом с эшелонном. Среди уби-

тых нашли после бомбежки отца мальчугана.

На второй день станцию заняли немцы. Семья погибшего пограничника оказалась на оккупированной территории.

А вскоре здесь стали формироваться новые товарные составы. Шли они на запад. Вагоны были переполнены людьми. Колеса на стыках словно выговаривали: "Неволя, неволя, неволя"...

В одном из таких поездов оказалась семья мальчишки – он, его сестра, их мать. Ехали они долго. Наконец состав остановился. Первое, что они услышали, – лай собак. Сторожевые вышки, ограждения из колючей проволоки с пропущенным через нее током высокого напряжения, газовые камеры, крематории, виселицы, бараки... Здесь фашистские палачи творили свои чудовищные зверства.

- Я видел, когда мать и сестренку Ольгу отправили в газовую камеру.

Командир полка настаивал, чтобы мальчугана вывезли в тыл.

- Ему нужно учиться, - говорил подполковник.

- Я воевать должен, а не на кухне толкаться, - упорно стоял на своем новоявленный сын полка. Его можно было понять. Сколько горя принесла мальчику эта проклятая война!

Понял это наконец и комбат и сказал:

- Так и быть. Направим его к разведчикам.

Когда стали оформлять ротные документы, записали в них новичка под фамилией Туманов, имя дали ему мое – Ефим, отчество вписали в бумаги его собственное – Николаевич.

... День Победы наша часть встретила под Прагой, где немецкие войска вели ожесточенные бои, еще не до конца веря в свое поражение.

И надо было видеть погибших уже после дня Победы... А был среди них и майор Туманов.

В конце 1946 года рядовой Ефим Туманов был направлен на учебу в военное училище. Было ему тогда неполных шестнадцать.

Спустя тридцать лет после войны друзья и однополчане мои собрались на встречу в Харькове, затем – в Киеве. С Дальнего Востока был я один. Сколько было воспоминаний! Завели речь и о нашем сыне полка. Киевские журналисты взяли фотографию паренька, сделанную в день, когда мы провожали его на учебу.

- Обязательно найдем! – заверили они нас.

Незаметно прошло еще пять лет. И опять – встреча в Киеве. Группу ветеранов, которые освобождали Киев, пригласили в телестудию.

... В небольшом зале погас свет. На киноэкране замелькали кадры. Освещен. Блок, где фашисты хранили волосы узников, их одежду, обувь, протезы, очки, детские вещи. Вот на экране промелькнула часть территории, где истребляли детей, где был спасен будущий сын полка.

- Ефим, - толкнул меня в бок мой однополчанин, бывший командир роты, – тебя зовут телеоператоры.

Я был в такой степени погружен в свои невеселые мысли, что забыл, где нахожусь. Именно в этот день киевские журналисты сделали мне сюрприз. Я увидел сына полка Ефима Николаевича Туманова.

Было это в восьмидесятом.

Воскресший под Освенцимом, он сейчас живет в Минске, до недавнего време-

ни служил в нашей же воинской части, которая прошла от Сталинграда до Праги...

Свой рассказ я хочу закончить словами поэта:

Мы на земле
Творим и пашем,
Но не покоем век объят,
И голоса
Живых и павших
Гремят о мире,
Как набат!

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ (новелла)

Сильнее смерти —
Нашей веры свет!

С. Галкин

Самуил Залманович Галкин — известный поэт, драматург. В 1931 году он был гостем нашего города и написал стихотворение "На биробиджанской сопке". Писал он на идиш. Каждое его стихотворение — открытие нового мира, каждый его театральный спектакль — яркое повествование об огромной любви, о людях, которые одинаково мужественны и в любви, и в борьбе с врагами. Эти темы поднимались автором с самых глубин народных сказаний и легенд, личных наблюдений и переживаний.

Разбирая литературный архив писателя, драматурга и поэта Бориса Миллера, я обратил внимание на его переписку с писателем Ал. Лесса. Речь шла о творчестве Самуила Галкина.

... В 1948 году Галкин перенес один за другим два инфаркта. Он поехал в Малеевку — подмосковный писательский Дом творчества, чтобы отдохнуть после долгой и тяжелой болезни. Неожиданно его арестовали по ложному доносу и глубокой ночью бесшумно увезли из Малеевки. Вскоре он оказался в далеком северном лагере. Здесь судьба столкнула его с крупным немецким филологом, профессором романских языков. Они жили в одном бараке, и их койки были рядом. Профессор прекрасно знал русский.

Однажды профессора и поэта заставили рыть какую-то яму. Зима выдалась суровой. Термометр показывал сорок градусов, в воздухе стоял густой морозный туман. На таком морозе больное сердце Галкина билось еле-еле. Ему трудно дышать, и он часто останавливался, чтобы передохнуть. В одну из таких передышек Галкин подошел к профессору и сказал:

- А знаете... мне сегодня пятьдесят... День рождения.

Профессор скорбно посмотрел на друга своими близорукими глазами и, подумав, ответил:

- Не беспокойте меня полчаса. Это время я буду думать и скажу вам нечто такое, что ответит вашим чувствам.

И они опять стали рыть землю.

Прошло немного времени, профессор сказал:

- У меня нет ничего, чтобы я мог вам подарить. Но я прочту вам одно стихотворение... Мне кажется, оно очень подходит к сегодняшнему дню...

И стал читать:

Прозрачное стекло блестит в руке твоей,
Ты видишь сквозь него и землю и людей,
Весь мир перед тобой отчетлив и открыт —
Кто радостен, кто зол, кто весел, кто скорбит.

Галкин слушал безучастно, ничего не понимая, но вдруг глаза его расширились. В них отражалось недоумение, смешанное с радостью. Он хотел остановить профессора, спросить, откуда он знает это его давнее стихотворение, но у Галкина не было сил, чтобы заговорить.

А профессор продолжал:

Но если у стекла любую из сторон
Покроешь хоть слегка грошовым серебром —
Вмиг исчезает с глаз все то, что в мир влекло,
И зеркалом простым становится стекло.
Пусть чисто зеркало, пусть гладь его ясна
И нет на нем нигде малейшего пятна,
Но, радуясь и злясь, ликуя и скорбя,
Ты сможешь видеть в нем и самого себя.

Профессор умолк, а Галкин продолжал стоять недвижимо. Затем он шагнул к профессору, порывисто обнял и сказал едва слышно:

- Спасибо!

... Долго не мог Самуил Залманович уснуть. Видел это профессор и произнес:

- Знаете, мой любезный, пора и праздник отметить.

Профессор положил на стол ломоть хлеба, а Галкин налил воду в кружки. Первым заговорил профессор:

- Не знал, что судьба сведет меня с вами. Я знаю ваши стихи потому, что я почитатель многих еврейских поэтов. Стихи поддерживают меня в трудное время. Пусть же нашим девизом станут слова вашего стихотворения:

Усталые в ночь засыпают

И бодрые утром встают.

- Спасибо! — произнес Самуил Галкин и глотнул водицу.

- Этот день я никогда не забуду! Славное пятидесятилетие!



Валентин Пасманик

Вот как написал о себе он сам: «Родился в 1945 году в г.Биробиджане. Учился в школе, в общем-то, неплохо (мог-таки и лучше), после семилетки пошел работать (мог бы, конечно, и не сапожником). Склонность к писанию появилась еще в детстве. Писал где только можно. Нет, нет, вполне пристойные слова. В 1964 году пошел (вернее - поехал) исполнять свой гражданский долг и всеобщую воинскую обязанность на Тихоокеанском флоте. Первые пробы пера сделал, будучи редактором стенной газеты «Сигнал». Затем, в 1967 году, мои заметки о буднях моряков появились на страницах флотской газеты «Боевая вахта».

После демобилизации десять лет «вкалывал» на Биробиджанском заводе силовых трансформаторов.

Второй всплеск творчества начался, когда я стал учиться в Хабаровской высшей партийной школе на отделении журналистики, которую и окончил в 1981 году. В эти благословенные годы в качестве практики публиковался в газете «Молодой дальневосточник». С августа 1981 года и 13 лет подряд мой голос звучал по областному радио. Для программы «Субботний лабиринт» стал писать короткие рассказы.»

В 1998 году путем героических усилий и назло всемирному антисемитизму Валентину Доновичу удалось издать впервые в области книжку еврейских анекдотов. Вслед за первым последуют второй, третий выпуски. А почему нет!

Дядя Миша и другие тоже

Скажите, вы когда-нибудь страдали раздвоением личности? Ну, как Мэйсон в бесконечной сказке для взрослых «Санта-Барбара»? Нет? А я вот таки да. Правда, с недавних пор. И не всегда. Но изредка бывает. Пренеприятная штука, скажу я вам. Тут и одному-то прожить не так-то просто. А когда тебя двое? Обычно мое «второе я» появляется перед обедом или тогда, когда я берусь за перо, чтобы родить очередной «шедевр». Вот и сейчас я чувствую, что «оно» уже здесь, рядом. Воспользуюсь тем, что «оно» пока молчит, и начну свой рассказ.

Итак, дядю Мишу знали все. Что? Не может быть? Ну, хорошо-хорошо! Напишу по-другому. Дядю Мишу знало почти все мужское население Биробиджана и половина - женского. Потому что он был парикмахером. И парикмахером, каких поискать. Да, представьте себе, я в этом уверен, как уверен и в том, что мой покойный отец был мужчиной, а моя мама - женщиной. Послушай, не мешай, а? Я только-только начал писать, а ты уже встречаешь... Не нужно мне никакого второго «я»! Меня и одного более чем достаточно. Хорошего человека должно



быть много? Так то ж хорошего... Ну, ладно, ладно! Согласен, только помолчи...

В центральной парикмахерской, где дядя Миша работал, в мужской зал всегда было две очереди. Одна - большая, к дяде Мише, другая - маленькая, к другим мастерам. Высокого роста, плечистый, с копной седых волнистых волос, он был настоящим кудесником машинки, ножниц и расчески. Да не был он всю жизнь седым, что ты привязался! Ну, не помню я, какого цвета были волосы у дяди Миши, когда он был пацаном! Зато прекрасно помню, что последнюю прическу в моей допризывной жизни - «под ноль» - сделал мне именно дядя Миша. На эту модную тогда у 19-летних парней стрижку я и надел флотскую бескозырку, которую, как набожный еврей, не снимал в течение четырех лет. Когда дядя Миша узнал, что дорога от военкомата, как поется в песне, ведет меня прямо на Тихоокеанский флот, то в отличие от меня повеселел.

Ты замолчишь сегодня или нет?! Без тебя знаю, что нервные клетки не восстанавливаются! Ну, хорошо-хорошо. Спрашивай, но в последний раз! Чему обрадовался дядя Миша? Да тому, что он - бывший моряк и в годы Великой Отечественной войны и несколько лет после нее служил на том же Тихоокеанском флоте. Я продолжу дальше, ладно?

Дядя Миша знал все. Он мог поговорить с клиентом о революции на Кубе и происках американских империалистов, о влиянии кукурузы на детскую рождаемость и ценах на городском колхозном рынке, о самом модном цвете женских капроновых чулок и мужских сорочек, о ширине брюк и у какого портного их лучше шить и т.д. На его лице всегда была чуть грустная улыбка и ... Опять?! Да чтоб ты... Да чтоб тебя... Что «ха-ха»? А, ну да. Выходит, что я сам себя проклинаю. Ладно, ладно, отвечу. Но в последний раз, а не то... Пардон, пардон... Откуда я так хорошо знаю дядю Мишу? Так мы ведь с ним жили в одном доме и даже в одном подъезде! Ну, в том доме по улице Ленина, который уже несколько лет никак не могут отремонтировать. У дяди Миши было две дочки-близняшки и сын. Да знаю, знаю! И про тещу его, и про тестя, которые жили вместе с ним. Жену еще забыл и племянника Ромку. Не ехидничаю я. Просто напоминаю. Кстати, тесть его был вредноватым стариком. Все время гонял нас, пацанов. Как это «было за что»? Мы, что ли, были виноваты, что возле сарая, где он держал кур, была очень мягкая, уваженная земля, в которой водились жирные дождевые черви, на которые хорошо ловилась рыба? Ну и что, что от нашей усердной работы лопатами одна из стен сарая в конце концов сильно покосилась и чуть было не завалилась? Дед был хорошим столяром и быстро водрузил ее на место. Ну и что в том такого, что однажды, обуреваемые мстью, мы наполовину (больше не успели) разобрали крышу на его «курятник» и как раз перед дождем? И, наконец, ничего страшного не было в том, что дверь его «нетоварной птицефермы» зачастую открывалась лишь после того, как срабатывал один из наших «сюрпризов». Потаскал бы он тебя за уши да защемил бы хоть разок своими клешнями твои запястья, еще неизвестно, какие бы пакости устраивал ему ты.

А что дядя Миша? Хороший вопрос. Он только один раз рассердился на нас не на шутку. После удачно проведенной нами операции «Западня». Однажды, когда его тесть, как всегда, отправился проводить на ночь своих кур и открыл дверь подъезда, то тут же всем своим длинным и костлявым телом улегся на крыльцо и невольно сделал вид, что все дальнейшее ему абсолютно неинтересно. Мы

здорово перетрусили. Ведь проволока была крепкой, а крыльцо - бетонное. Затаив дыхание, мы наблюдали из-за колодца за неподвижным телом старика. Один из нас, не выдержав, предложил вызвать «скорую помощь». Не знаю, может, именно этот случай повлиял на дальнейшую судьбу сердобольного пацана, но он в дальнейшем, как говорила его покойная бабушка, «выучился афн доктор». Правда, стал почему-то гинекологом. Почему гинекологом? Опять лезешь со своими дурацкими вопросами? Хорошо-хорошо, отвечу. Откуда я знаю? Спроси об этом у его покойной бабушки. Хотя, я так думаю, выбор этот был сделан им не случайно. Еще в школе этот пацан дружил с девочками да еще с несколькими сразу. А в юности... В общем, любил он слабый пол со страшной силой. Вот как характеризовала эту пору в жизни будущего гинеколога его незабвенная бабушка: «Гибт нор а кик (вы только посмотрите) афн этот выродок! У всех внуки как внуки, а этот а идише койлэр (убийца) через день водит у мою квартиру новую шиксу (девку)!» Затем (без бумажки!) она произносила длинную и не очень лестную речь о его родителях, их предках вплоть до десятого колена, не забывая коснуться международного положения и цен на городском рынке. Помолчи! Не сбивай меня с мысли. Представь себе, изредка я еще мыслю... А второй причиной, на мой взгляд в плюс две с половиной диоптрии, было желание сделать так, чтобы такие газлуним, как мы, не появлялись больше на белый свет.

А что дед? Так я собирался об этом рассказать, а ты меня сбил с мысли. Так вот, пока у нас шли дебаты - вызывать «скорую» или по-быстрому смыться, - старый «курятник» стал приходить в себя. Приподнявшись на локте и прочистив горло, он заорал на всю улицу: «Гвалт, идите, идите скорее сюда, мене, кажется, уже убили!» Затем, поднявшись и отступив к открытой подъездной двери, так, на всякий случай, стал выкрикивать в темноту проклятия в наш адрес, перемешивая еврейские, русские и украинские слова. О, это надо было-таки слышать! Над вечерней улицей звучала симфония, в которой причудливо переплетались темы огня, воды, земли, переломанных конечностей, оторванных голов и болячек буквально на каждый квадратный сантиметр наших незаконнорожденных тел. Но мы не стали дослушивать до конца, на эту дивную музыку сбежались соседи. Убедившись, что старик оклемался и, более того, находится в обычном для него состоянии, мы растворились в наступающей ночи.

Что было дальше? Ну, если помолчишь, расскажу. Итак, весь следующий день в ожидании возмездия мы держались подальше от нашего двора. Но, как говорится, голод - не сестра мамы или папы и мы по одному, как подпольщики, стали просачиваться по своим квартирам. Тишина. Никто! Никому! Ничего! Решив, что опасность миновала, мы потихоньку стали сосредотачиваться в дальнем углу двора. Здесь, возле забора, а бурной «радости» управдома-Гёфона, размещалось наше городошное поле, где мы с упоением лупили самодельными битами не столько по фигурам, сколько по доскам многострадального забора. В ту пору городки были нашим излюбленным занятием, уступающим разве что битью окон в разгар футбольных сражений и рыбалке. И вот, когда я сильным и ловким ударом выбил «бабушку» из «оконца», а заодно и очередную доску из забора, вместо одобрительных возгласов болельщиков за меня пацанов я услышал

за спиной... Ничего я не услышал. Обернувшись, я выронил оставшуюся битую. Позади меня стоял...

Опять? Ну, ладно-ладно, не ехидничай. Никакого старика с ружьем не было. Все было гораздо хуже. Позади меня стоял дядя Миша. В белом халате, с табуреткой и коричневым чемоданчиком-балеткой в руках. «Ну что, газлуним (разбойники), будем стричься?!» - тихим таким, спокойным голосом - так, что мороз по коже, утвердительно спросил он. Не знаю, как вам, а нам в детстве подстригаться было-таки сущей пыткой. Помню, как однажды, чтобы избежать похода в парикмахерскую, я залепил волосы пластилином. Но хитрость не удалась. Отец лично отвел меня в парикмахерскую, где женщина-мастер, чертыхаясь и поминая недобрым словом меня и мою родню, ножницами выстригала клочья моих пластилиновых волос - машинка их не брала. Короче, из парикмахерской я вышел без чубчика - красоты и гордости мальчишек той поры, а с голой, как коленка, головой. А что же дядя Миша? А что дядя Миша... Он поставил табуретку и сделал приглашающий жест рукой. Первым на эшафот взошел я - стоял ближе всех к нему. Укутав меня покрывалом и достав из балетки орудия пытки, дядя Миша задал традиционный вопрос: «Как будем стричься?» Ya что я пролепетал трясущимися, пересохшими губами: «Чубчик оставьте...» И первые клочки моих кудряшек упали к моим же, ставшим вдруг ватными ногам. Очнулся я от вежливого: «Пожалуйста!» Отряхнув покрывало, дядя Миша пригласил следующего, и очередная жертва с поникшей головой заняла мое место. Самое удивительное, что ни один из мальчишек даже и не пытался удрать. Все они с обреченным видом стояли там, где их застал приход дяди Миши.

Когда «эзекуция» закончилась, дядя Миша приказал: «Газлуним! Собрать и отнести в мусорный ящик вашу шерсть!» Затем, собрав свой инструмент, медленно направился к большому бревну, лежащему неподалеку от городского поля. Молча сел. Мы, как под гипнозом, сделали то же самое. «В том местечке на Украине, где я жил с моей мипухой, - тихо заговорил он, - меня все хорошо знали не как примерного мальчика. Ваши пакости не годятся и в подметки тем, которые мы там вытворяли. Но... Никто и никогда, слышите? газлуним? Никто и никогда не смел обижать стариков. Что касается моего тестя. После очередного еврейского погрома там, на Украине, он чудом остался жив. Моя теща, которую вы «любите» еще больше, чем подстригаться, трое суток просидела в колодце, спасаясь от погромщиков. Спросите ваших родителей, бабушек и дедушек, и они тоже много вам чего расскажут за свое еврейское счастье. Я сказал - вы поняли... А теперь продолжайте делать большую голову нашему управдому», - и, подхватив табуретку и свой чемоданчик, дядя Миша ушел...

Ну а мы что? Да ничего. Играть больше не хотелось, и, собрав «городки», мы уселись на бревне держать совет. «Пацаны, - начал речь самый толстый и потому самый рассудительный из нас, - давайте больше не будем трогать деда. Ну его. Лично я не хочу больше подстригаться. Да и дядя Миша - мужик что надо. Кто больше всех цапается с Гефоном, чтобы тот перестал выкапывать ворота на нашем футбольном поле?». Никто не возражал. Даже самые отъявленные «халиганы и выродки», как называла нас бабушка будущего гинеколога. Более того, с того злополучного дня мы усердно помогали старику излавливать его воспитанниц. Это таки надо было видеть! Как мы, растянувшись цепью по двору, во главе

с дедом наступали на кур. Многие из нас боялись будущих главных действующих лиц куриного бульона с мандэлэх, поэтому с особым удовольствием падали мимо них на землю, хватая руками воздух. В конце концов одна из куриц оказывалась-таки в руках старика, который со знанием дела, как заправский шойхет, лишал ее жизни. Через некоторое время наш двор наполнялся дразнящими запахами бульона и жареной курицы. Теща дяди Миши, надо отдать ей должное, в совершенстве умела делать две вещи - прекрасно готовить и мастерски проклинать нас. Боже! Даже сегодня, вспоминая гефилты фиш от дяди Мишиной тещи, я чувствую, как мой желудок начинает вырабатывать желудочный сок, а рот наполняется вязкой слюной. Если кто и мог сравниться с ней в приготовлении фаршированной рыбы, которую, кстати сказать, очень любил великий еврейский сказочник Карл Маркс, то это моя мама. Правда, ей приходилось готовить это блюдо крайне редко...

Опять лезешь, да? При чем рыба к дяде Мише? При чем, при чем... А при том, что он очень любил фаршированную рыбу. А если серьезно, то я попросту немножко тянул время. Почему? Да потому, что конец этого рассказа очень печальный. Несколько лет тому назад дяди Миши не стало. Любимец всех мальчишек нашего двора, да и не только двора, но и всей нашей улицы, умер в далеком Израиле, прожив там всего несколько месяцев.

Помню, как перед самым отъездом я встретил его у нас, в поселке Бумагина. Овдовев, он жил там у своего сына. Увидев меня, он задал вопрос, который задавал мне всегда при нашей встрече: «Как мама?». Узнав, что мама моя умерла, он вдруг заплакал: «И я еду туда умирать...»

Бывая в парикмахерской, где когда-то работал дядя Миша, я до сих пор невольно иду его глазами. Но нет его и уже никогда не будет. Как нет и никогда уже не вернется мое детство, в котором был высокого роста, плечистый, с копной седых волнистых волос и чуть грустной улыбкой человек, любимец всех мальчишек - дядя Миша.



Михаил Смоляренко

Родился в 1937 году в Днепропетровске. Когда ему исполнилось два года, родители переехали в Еврейскую автономную область. В 1956 году Михаил Борисович окончил Хабаровскую школу милиции, а в отставку ушел в звании полковника, с должности начальника уголовного розыска области. Награжден привлекательными наградами. В настоящее время - юрист Западных электросетей Биробиджана.

Писать М.Б. Смоляренко начал с первых лет работы в милиции. Публиковался в газетах «Дзержинец», «Молодой дальневосточник», «Биробиджанская звезда», «Ди-Вох» (неделя).

Диапазон литературного творчества Михаила Смоляренко широк - это рассказы, эссе, остросюжетные детективы, в основу которых положены документальные события с участием автора.



В 1999 году стал лауреатом городской премии в жанре очерка.

Цветы моего детства

- Весна пришла. Багульник цветет. - сказал я.

- Папа, — улыбнулась дочь, — ты вообще, кроме багульника, знаешь какие-нибудь цветы? Кроме него, существует для тебя красота природы?

Целый вечер я рассказывал ей о том, как ранним летним утром розовую зорьку сменяет сиреневое марево и жемчугом переливается роса, как завораживает зеленым дождем березовое раздолье, как задумчиво шумят обсеянные малиновым закатом ветви клена.

Я рассказывал ей о том, что еще раньше, чем багульник, чуть ли не в разгар зимы, когда река еще спит под льдом, на ее берегах нежными пышными комочками распускается верба. Я говорил ей о том, как испуганно трепещут на ветру луговые ромашки, словно по этим лугам ошалело мечется белая метелица, о синих россыпях колокольчиков, о гвоздиках искристокрасных, о ландышах - самых скромных в своей венчанной близине.

И еще я хотел рассказать ей о лилиях - чистых, как слезинка, манящих в озерную бездну гордой и неповторимой красотой, о цветах ириса, фиолетово-синих, почти черных, как безлунная ночь; о подснежниках сказочно-хрупких, о дурманящем, расплеснувшемся до самого горизонта оранжевом море огоньков и о многих-многих других цветах. Но дочь прервала меня.

- Папа, по какой-то нелепой случайности ты стал милиционером, ты же прирожденный ботаник! Так красиво говоришь о природе, о цветах. А за что ты лю-

бишь багульник? Мне кажется, что в твоей жизни с этими цветами связано что-то особенное. Давнее. Может, грустное, а может, приятное. Но ты не можешь вспомнить.

Дочь была права. У меня уже есть внучка, седина покрыла мою голову. У меня очень много забот. Но в пору, когда еще толком и не скажешь, поздняя это зима или ранняя весна, когда еще не совсем сошел снег, я прихожу в рощу за городом и часами зачарованно смотрю на нежные ветки багульника. И мне начинает казаться, что я вижу и слышу чудесную сказку о том, что было много тысяч раз до меня и что вот-вот снова воскреснет, стоит только чуть-чуть пригреть солнышко.

И воочию вижу, как неожиданно, как-то уж очень сразу, вспыхнет это алое, малиновое, сиреневое и бог еще знает какое пламя, настоящая полыхающая заря, и так же внезапно, незаметно отцветет, откипит в своей буйной радости, исчезнет, чтобы через год снова воскреснуть.

Да, дочь права. Что-то особенное в моей жизни связано с этими цветами. Но я не могу вспомнить. А очень хочется.

Надо вспомнить. Надо! И тогда я поехал на окраину города, пришел на то место, где когда-то стояла наша покосившаяся избушка, и стал вспоминать.

И вспомнил! Я все вспомнил!..

Мы жили в поселке за рекой. Не помню, как тогда мы - я, мать и старшая сестра - стали жить в нашем доме. Отец служил. Осенью сорок первого он должен был прийти домой. Но пришел только в сорок шестом, после Маньчжурии.

В середине июня сорок первого в селе появилась семья с запада, откуда-то с Волги: дядя Ваня, тетя Оксана и их дети - Борька с Валькой. Все они говорили с чудным волжским оканьем. Поселились у нас, сказали: "Временно, пока хатенку себе срубим". А через неделю дядю Ваню вызнали в военкомат и он уехал на запад. А еще через два месяца пришла похоронка. Ничего страшнее я в жизни не слышал, как этот дикий, истощенный крик тети Оксаны. Схватив в охапку перепуганных Борьку и Вальку, она рвала на себе волосы и своим криком собрала к избушке все село.

- Сиротиночки вы мои-и!

Да что это за проклятье на мою голову-у-у... Да на кого ты нас покину-у-ул...

Начало нашей жизни (я имею в виду то, что мы только-только начали что-то понимать) совпало с началом войны. Мы были всегда голодными, мы каждую минуту, даже во сне, мечтали о куске хлеба, не знали и не видели конфет. Зато мы знали вкус "тошнотиков" (оладышки из выкопанной весной, случайно оставшейся в земле перемерзшей картошки). Летом мы набивали свои животы кислицей и щавелем, с шиповником и листьями дикого винограда. Зимой было совсем плохо.

Но были у нас и свои маленькие радости. Я уже сказал, что тетя Оксана со своей семьей приехала в середине июня. В эту пору у нас давно отцвел багульник, и они понятия не имели об этих цветах. А мы-то уже знали, что если в самом конце зимы, с первой каплей, наломать, казалось бы, мертвых веток багульника и поставить их дома в банку с водой, то через недельку-другую, когда на дворе еще не сошел снег, вдруг вспыхнет дома удивительное чудо и на время отойдут

куда-то в сторону все беды.

Но всего этого не знали еще волжане. Подходила к концу и первая военная зима. Мы так и жили в нашей избушке двумя семьями. Один скрипучий стол на всех - и для еды, и для уроков, и для хозяйственных дел. Два старых стула на всех, а одежда и обувь — не спрашивай.

Тетя Оксана работала на заводе, где делали мины. А мою мать постоянно отправляли на лесозаготовки. В одну из таких поездок, в конце февраля, мы с сестрой сбежали за околицу, наломали охапку голых веток багульника и поставили в банки с водой.

Тетя Оксана пришла домой поздно, уставшая, злая.

Присела на стул, потухшими глазами уставилась в пол, потом медленно поднялась, подошла к столу, вытащила из банок ветки багульника и, скрипнув дверью, швырнула их на улицу, проокав при этом:

- Не хватало еще хламу в доме.

Я разинул рот от изумления и обиды и только смог промолвить:

- Что... вы... ведь это же цветы... багульник!..

- Какие еще цветы, метла какая-то!

Моя сестра, сверкнув на тетю Оксану черными глазищами, крикнула:

- Вот вы увидите... скоро увидите!

Тетя Оксана отрезала:

- Спать!

Болью отозвались в наших сердечках эти слова: "метла", "хлам", "спать". Но на завтра уже другие заботы наполнили наше бытие, и мы на время забыли об этом.

Багульничье пламя вспыхнуло вокруг поселка в одночасье, как будто добрый волшебник выплеснул на всю округу удивительную зарю. Тетя Оксана увидела это, когда пошла наломать метелку, чтобы подмести двор. Она остановилась, пораженная и окаменевшая, потом медленно и бережно наломала огромную, сколько могли уместить ее худые руки, охапку цветов и принесла домой. Дома, пряча от нас глаза, она поставила цветы в банки.

Вечерело. Я забрался на кровать, зарылся в лохмотья и, взглянув на букеты, уснул. Проснулся от прикосновения чьих-то рук, теплого дыхания и слез, падавших на мое лицо, шею, руки. Тетя Оксана, обнимая и целуя меня, рыдала:

- Сиротиночка ты моя, прости меня, прости меня, родненький...

Я испугался и ничего не понял.

- Ну что ты, тетя Оксана... Что ты...

Она прижала меня к себе и, обливая слезами и качая, проокала:

— Спи, родненький, спи... спи...

У меня на душе стало легко. Материнское тепло всех женщин земли одинаково. И я уснул.

Наутро (то ли ей дали, наконец, за многие месяцы выходной, то ли она просто отпросилась с работы) тетя Оксана с какой-то грустинкой в глазах металась по избушке. На столе и на этажерке сияли букеты багульника. А в самодельной картонной рамке, прислоненной к банке с цветами, стояла довоенная, еще юношеская фотография дяди Вани.

Это был настоящий праздник. Тетя Оксана достала остатки припрятанной ржаной муки, напекла блинов, из сушеного шиповника сварила компот, и хотя он был почти без сахара, слаще его, казалось нам, ничего на свете быть не могло. Мы уплетали картофельную толченку и блины, запивали компотом, а она смотрела то на нас, то на фотографию и еле сдерживала слезы.

В тот день, оказывается, исполнилось восемь месяцев со дня гибели дяди Ивана.

...Память, спасибо тебе. Ты принесла с собой совершенно отчетливую картину трудного, но все же милого детства. Но ты принесла с собой и горький упрек. Сколько же лет я не был у тети Оксаны. И вот я у нее. Валентина хлопочет у ее постели. Та очень больна, еле двигается. Как она изменилась! Лишь все та же милая грустинка в глазах напоминает, что это она.

— Здравствуй. Вот ты какой! Твоя мать, умирая, просила смотреть за тобой, следить, какой дорогой пойдешь, не заблудишься ли. Не заблудился. Была бы жива, гордилась бы.

Помолчала, потом тихо сказала:

- Прости меня за то, что тогда обидела вас. Всю жизнь себя корю.

- Ну что ты, тетя Оксана, война же была, она всех ожесточила.

- Ну, не скажи. Ты вот всю жизнь с дерьмом возишься, а сам душой чистый и добрый остался. Весь в мать. Та, бывало, от голода качается, а с людьми последним куском делится. Моя мама! Удивительно, как-то даже болезненно отзывчивая на чужое горе. Сколько ее помню, столько она болела. Болела и работала. Мы просыпались, ее уже не было: она была на работе. Мы ложились, ее еще не было: она была на работе. Она была уборщицей и истопницей, санитаркой и рабочей. Чтобы в доме было тепло, она корчевала лес. Чтобы на зиму был лишний мешок картошки, она, росточком чуть выше полаты, от зари до зари ковырялась в тяжелой, много лет не знавшей удобрений земле.

В какой-то короткий миг передо мной снова отчетливо промелькнула вся наша жизнь, в которой мы, пройдя через все, выстояли.

- А Иван мой погиб. После войны письмо получила я от его однополчанина. Прощения просил, что долго не писал - в тылу у фашиста воевал, потом по госпиталям. И рассказал, что отступали они, измученные, и погибнуть бы им всем, да Иван добровольно вызвался прикрыть их.

Она долго молчала, а потом совсем уже высохшими губами еле слышно произнесла:

- Очень тебя и детей своих прошу: когда умру, посадите на моей могилке куст багульника. Будь счастлив. Иди. Береги себя... И она, улыбнувшись одними глазами, тихо пожала мне руку. Мы выполнили ее просьбу: когда приходит весна, на могиле тети Оксаны вспыхивает заря. Она такая яркая и красная, что кажется ярче солнца. Она, как жизнь, прекрасная и вечная, и погасить ее невозможно.

Юлия Сергеевич

Сергеевич Юлия Дмитриевна (Городникова - по отцу) родилась в с. Казанка Биробиджанского района ЕАО на 25-й день Великой Отечественной войны - 17 июля.

«Как мы были нехватами, дети страшной войны...» - напишет она потом в одном из своих стихотворений, посвященных брату Петру. В школе села Казанка отлично окончила первый класс и первое полугодие второго класса. 22 января 1950 года родители переехали в Биробиджан и поселились в собственном доме в поселке Партизанский, что за рекой Бирой. Здесь же, на Партизанском, отлично окончила начальную тогда школу №7, затем так же успешно - школу №8 (тогда она была 12-й) и поступила на школьное отделение Биробиджанского педагогического училища. По окончании его работала учительницей в совгаванской средней школе №2, затем - старшим инспектором детской комнаты милиции, откуда была переведена в Биробиджан.



Все годы учебы отлично писала сочинения, подружкам в альбом - стихи, поздравления. Везде, где работала, была редактором, художником, журналистом и поэтом стенных газет. В 1962-64 гг. вошла в состав рейдовой бригады газеты «Биробиджанская звезда», где были напечатаны ее первые материалы. Здесь же готовились к публикации ее первые рассказы и повесть «Татьянкин весна», которые здесь же бесследно исчезли. Такая же участь постигла около сотни девичьих стихотворений, которыми заинтересовался бывший тогда заместителем главного редактора журнала «Дальний Восток» Арсений Семенов.

В 1972 году в «Биробиджанской звезде» были впервые опубликованы ее стихи. Возобновила публикацию стихов и прозы только в 1990 году. С тех пор написано и опубликовано более сорока рассказов, житейских историй, полюбившихся читателям, как и более трехсот стихотворений. Почти все они опубликованы в газете «Биробиджанская звезда», где автор работает, а также в книге «Театральный Биробиджан» и музыкально-поэтическом сборнике «Славен в стихах и песнях Биробиджан», где помещены также песни Р. Васильева на ее стихи. В марте 1998 года издан поэтический сборник «Судьбы оборванная нить», посвященный памяти сына. В 1999 г. подборка ее стихов представлена в 1-м выпуске информационного сборника «Ларец прекрасных муз», выпущенного в Биробиджане. В последнее время в газете «Биробиджанская звезда» в рубрике «Мастерская» ею представлены молодые поэты. Среди них Владимир Нестеров и Людмила Вислогузова - новые имена на пути к Парнасу.

ВАЛЕРКИНА КОРОЛЕВА

Валерка увидел Анну в больнице. Она вышла из своей палаты к завтраку. Измученная приступами внезапно свалившейся болезни, с огромными карими глазами, Анна все-таки была хороша.

Утреннее солнце перебирало листья магнолий и разлапистых пальм, украшавших маленькую столовую заводской больницы. Оно одинаково внимательно заглядывало в глаза больных, выздоравливающих и сестер, высвечивало то лихорадочно блестящие, то потухшие, как бы обращенные в себя глаза.

Валерка сидел за столом и, увидев Анну, залитую солнцем, от неожиданности даже привстал.

Он был молод, недурен собой, недавно отслужил в Западной группе войск и прибыл к своим братьям в поисках только и достойной его, как он считал, королевы.

До сих пор он ни на ком не мог остановить свой выбор. Было уже немало прозкспериментировано, пересмотрено и — что греха таить! — даже перепробовано невест и предполагаемых на эту "должность". Но он чуял нутром: не то, ждет что-то "свое" и — необыкновенное.

И Валерка не спешил: присматривался и ждал. Но Анна — она перевернула и смела все. Валерка сказал себе: "Вот это да?! Я влип! Все! Из этого омута я не выберусь: отсюда выхода не будет!"

Вначале он попытался сопротивляться: "Подумаешь, королева! Больная, еще неизвестно чем. Да и не знаю я ее: может, у нее муж и куча детей...". А кто-то внутренний, второй Валерка, твердо, откуда-то из подсознания, возражал: "Брось! Она действительно королева! И плевать, если есть муж и дети: все равно будет моя!..."

Очень хотелось познакомиться, поговорить. Разузнать, расспросить. Но Анна не вышла ни к обеду, ни к ужину: наверное, ей стало хуже. И Валерка вдруг обнаружил, что ему больно за нее: у него чуть ли не физически заболело все сразу и противно ныло сердце, проваливаясь куда-то в пустоту, при мысли о страданиях Анны.

Он узнал от ее однопалатниц, что она лежит уже около недели, у нее высокая температура, врачи почти постоянно находятся у ее постели и не разрешают ходить.

Валерка стал плохо есть и спать и все думал, как зайти в чужую палату, да еще и в женскую, под каким предлогом и в какое время? Не дай бог, дежурный врач увидит, иди знай, что будет.

У самого Валерки был перелом ключицы: лихачество на мотоцикле не прошло безнаказанно. Но голова-то и сердце у молодого парня были свободны и здоровы!

И он решился. Когда дежурный врач, предполагая, что больные мирно почивают послеобеденным сном, как положено по больничному распорядку, удалился в ординаторскую, Валерка спешным порядком принялся за осуществление своего плана. Нарядившись в белый халат (выпросил или вытащил у разговорчивой сестры-хозяйки), повязал голову полотенцем в виде чалмы — как маг, — взял колоду карт и пошел по палатам: для вида — в ту, что рядом с палатой Анны, а затем — в ее.

С лихорадочно бьющимся и замирающим сердцем, горящими надеждой глазами, собравшись с духом, он постучал в дверь заветной палаты и вошел:

— Известный маг и волшебник, знаток белой и черной магии, предсказываю

судьбу, гадаю по картам и руке, лечу, исцеляю, снимаю порчу и сглаз, делаю людей, особенно женщин, счастливыми!

Он говорил и говорил, волнуясь и стреляя глазами в сторону Анны, переходя от одной кровати к другой, кланяясь каждой женщине:

— Кто желает, девочки, девушки, дамы и женщины, подходите, не стесняйтесь, говорите, что хотите...

Валерка крутился посреди палаты, а женщины не могли удержаться от хохота, ибо май этот являл собой очень забавное зрелище. Хапат едва доходил ему до колен кривых волосатых ног, а из коротеньких рукавов торчали такие же волосатые и длинные руки. На худой шее во все стороны раскланивалась голова, смешно повязанная полотенцем, из-под которого выглядывали серые насмешливые глаза, орлиный нос и аккуратные (гусарские!) усы. Женщины смеялись его анекдотам, гаданиям и предсказаниям. Валерка явно был в ударе.

Наконец, он обратился к Анне:

— Что же вы, красавица, неужто не хотите узнать свою судьбу? А она видна мне, как на ладони. У вас есть муж и дети? Но вас ждет большая и необыкновенная любовь. Лихой джигит на новеньком "мерседесе" выкрадет вас и увезет за дальние моря, в далекие края. Будете вы его королевой, и счастливо проживете сто лет, и родите пятерых сыновей, смелых, как он, пятерых дочерей, прекрасных, как вы! Не верите? Смотрите на карты! Дайте вашу ручку: вот видите, я же знаю, что говорю!

Постовая сестра не дала закончить гадание...

После "тихого" часа на распахнутом в июль окне палаты стоял букетик живых цветов. Они появлялись потом на этом окне каждый день, пока не выздоровела Анна.

Валерку вскоре выписали, но он, кажется, и не отходит от больницы. Приходил к Анне со своими братьями и невестками, племянниками и племянницами, даже со своим начальником! Он не оставлял ее ни на минуту: был уверен, что девушке нельзя давать опомниться, главное — не дать подступиться другим и выхватить то, что наметил себе.

И вот наступил день, когда Анна вернулась домой. Правда, Валерке она не сообщила ни о дне выписки из больницы, ни своего адреса, ни места работы. Да только что все это для него! Он осведомился обо всем у заведующего больницей: наверно, его огромное желание и безудержная фантазия представили главному врачу достаточно веские аргументы...

Мужа у Анны не было, но воздыхателями и влюбленными она обделена не была, и хотя докучали они ей сильно, однако что поделаешь?

Особенно серьезным среди них был ее коллега по работе. Это был перспективный и преуспевающий инженер, прекрасно воспитанный и образованный. У него уже имелся опыт короткой и неудачной супружеской жизни.

Альберт был галантен и корректен. Он вел себя достойно и серьезно, казалось, даже холодно, как английский аристократ, которому этикет не позволял вести себя шумно и весело, как говорится, на короткой ноге.

Вечером, устав от накопившихся после долгого отсутствия забот по дому, Анна рано переоделась ко сну и сидела за столом, просматривая записи в дневнике (осталась за ней эта девичья привычка).

Вдруг в дверь постучали. Анна открыла — вошли двое - Валерка и Альберт. У обоих в руках — цветы. Подав их Анне, Альберт вежливо осведомился о ее

здоровье и сказал:

— Мы познакомились у твоего подъезда. Поговорили и выяснили, что мы оба тебя любим. Решили, что в такой ситуации последнее слово должна сказать женщина. Так скажи, пожалуйста, кому из нас уйти?

Несколько помолчав и подавив смущение и нерешительность (Анна не могла ранить, обидеть кого бы то ни было), она ответила тихо:

— Оба и уходите.

Альберт, смертельно побледнев, словно из него ушла сразу вся кровь, осевшим голосом простился, вежливо откланялся и как-то боком, неуклюже вышел.

Валерка же не мог себе представить, что вот сейчас, когда соперник устранен, когда он попал в эту красивую, уютную комнату, где живет королева его сердца, он должен повернуться и выйти, может быть, навсегда. Нет, он так просто не сдавался никогда!

Он бросился перед Анной на колени, схватил край ее изящного длинного халата, уткнулся в него лицом и говорил, говорил — торопливо и горячо:

— Любимая, не гони меня! Я выдержу все, я на все готов! Я буду собакой у твоего порога, верным другом, цветком на твоём столе, братом, соседом — только не отвергай меня! Дай мне надежду, иначе я умру!..

Анна, лёгонько оттолкнув его, отняла край своего халата, отошла к окну.

Прислонившись к стене и высоко держа голову, она спокойно и тихо сказала:

— Прошу вас, оставьте меня.

— Ни-ког-да! — ответил Валерка и вышел...

Утром Анну разбудила соседка:

— Красавица моя, выгляни в окошко: уж не тебя ли стерегут?

Ленивый туман уже поднялся от земли, почти рассеялся. Заря растекалась по всему небу. Алое солнце золотило крыши домов и пробиралось от окна к окну, заглядывая в постели хозяек и малышей. А на куске поваленной изгороди под окном Анны мирно спал нарядный молодой человек с орлиным носом и ласково, нежно улыбался. Наверное, ему снилась его королева, с которой так хорошо было рядом. Пусть пока только во сне...

САНЬКА

"Зачем нам, поручик, чужая земля..."

(Из песни).

Санькино детство было, можно сказать, счастливым, несмотря на то, что машина с водителем ушла под лед и в шесть лет он остался без отца. Ребенок был еще слишком мал, чтобы во всей глубине осмыслить и почувствовать боль утраты. А через два года мать вышла замуж за хорошего чеповека.

Новый отец был не ахти каким внимательным и изобретательным в воспитании пасынка, но не отмахивался от него, не оставлял без внимания детские вопросы и заботы. По крайней мере, пока не появилась на свет их совместная дочь.

Саньке к тому времени шел уже четырнадцатый год, и он мог осмыслить элементарные понятия, что сестренка маленькая, беспомощная и нуждается в особом уходе и внимании. Однако он еще не был и настолько взрослым, чтобы, хлопоча около Ленки, родители не замечали еще одного ребенка, тоже нуждающегося во внимании, и в заботе, и в ласке.

Нет, Санька не ревновал, а чувствовал собственную ненужность, какую-то отчужденность и даже намеренное отстранение его от малышки и матери с

отчимом. Вроде у них была общая семья из них троих, а он — четвертый: не гость, не сын, не слуга, не родственник, а так; пустое место.

Когда мать нежно смотрела на маленькую дочечку, бережно покачивая ее на руках, Саньке хотелось прижаться к матери и тоже нежно смотреть или поглаживать сестренку. Он даже пытался несколько раз поближе подойти к матери и почувствовать это единение: мы все вместе — семья. Но мать каждый раз резко менялась в лице и прогоняла его: "Ты с улицы, грязный и холодный. Уйди отсюда!" "Я же не трогаю ее. Я только смотрю", — неуверенно оправдывался Санька. Мать гнала его, и он опять уходил на улицу, забивался в какую-нибудь щель, чтобы никто не видел, плакал и горевал, что остался совсем один.

Несколько раз он пытался помочь чем-то — хотя бы сбежать в магазин. Но мать говорила, что обойдется "без сопливых", что дома все есть — отец принесет.

Так Санька действительно остался один, хотя и в семье. Теперь всегда и везде он чувствовал себя обделенным и обойденным, сиротой. Ему не к кому было преклонить голову: бабушек и дедушек у него не было. К остальным же он относился с недоверием и в душу свою, маленькую и израненную, никого не пускал.

Он даже со сверстниками сходилась трудно и только с теми, у кого не было отцов, где была одна мать и кто, казалось ему, был с ним почти на равных. Душевное состояние свое он скрывал, был замкнутым, немногословным и каким-то безрадостным.

Пришло время — Санька ушел на службу в армию. К счастью, характеристики у него были хорошие и он попал в отличный вертолетный отряд на строительство БАМа.

В части Санька долго присматривался к сослуживцам и к концу первого года службы: сдружился с новобранцем Костей. Странно, что выбрал он именно Костю. Ведь у него была полная семья, счастливые и добрые родители. Таким же был и Костя: открытым, искренним и добрым.

Через него Санька сблизился и с Димой, прибывшим в часть на полгода позднее Кости. Этого уважали все. Санька думал, что так в жизни не бывает, чтобы к одному человеку все относились одинаково — с уважением и как к старшему, мудрому и рассудительному. Ведь Димыч, как его все называли, был не старше, а даже младше многих. Но даже старослужащие видели в нем что-то такое, что не позволяло в его присутствии насмешек или унижений "салажат".

Дима был красив: высок, атлетически сложен, с лицом, словно выточенным искусным ваятелем, большими глазами, полными добрых смешинок, — в общем, природа изрядно потрудились и создала нечто совершенное. Его манеры, размеренные и четкие движения, спокойные, уверенные и красивые, выдавали то, что не приобретается ни образованием, ни воспитанием, — с этим можно только родиться.

Если бы это было в прошлом веке, Санька бы сказал что Дима — аристократ. Однако ни в его характере, ни в отношении к людям не было ничего барского. Он не был заносчив и скорее скромнее, чем высокомерен. И внушал уважение и доверие с первого взгляда, в нем чувствовалась необъяснимая защищенность и надежность.

Санька с удивлением узнал, что у Димы тоже нет отца и его вырастила мать с годовалого возраста. Он так хорошо рассказывал о своей матери, с таким уважением, нежностью, даже восхищением, что Санька просто не мог представить,

что такие матери вообще бывают. Мысленно он отнес это на тот счет, что Дима просто скучает по матери, а потому идеализирует ее. Правда, он давал Саньке пару материнских писем, по прочтении которых у него возникло чувство зависти: наверное, одному из тысячи все-таки везет с матерью...

К концу службы командир части предложил Саньке остаться на сверхсрочную, с чем он охотно согласился. "А куда я поеду, кому там нужен? Мешать в их семье? Быть третьим лишним, что ли? Останусь!"...

Получилось так, что через полгода "сверхсрочки" Саньке предложили взять одного старослужащего и поехать в тот город, откуда призывался Дима. Надо было на тамошнем заводе сдать тару и перезаключить договор. Конечно, Санька взял Костю, ибо Дима по своей воинской должности оставить цех не мог.

Они оформили командировочные документы, груз, простились с Димой. На прощанье он несколько раз убедительно просил навестить его маму. Разумеется, парни обещали побывать у нее, с тем и уехали.

В этом городке оба были впервые. И уже одно то, что с первого взгляда подтвердились самые восторженные рассказы Димы о нем, говорило, что друг все-таки не преувеличивал.

Сделав все на заводе, Санька и Костя поехали по данному им адресу. Честно говоря, Санька с нетерпеливым любопытством стремился сюда. Ему так хотелось узнать, правда ли, что бывают такие необыкновенные матери, как рассказывал Дима.

Дверь открыла маленькая, изящная девушка в закатанном до колен трико и клетчатой рубашке с завязанными узлом полочками на тонкой талии. В полумраке прихожей ребятам показалось, что ей лет двадцать пять, не больше.

- Простите, нам можно увидеть Димину маму? Мы его сослуживцы, здесь в командировке. Он нам дал адрес, — все сразу сказал Санька, несколько смущенный внимательным взглядом сияющих карих глаз молодой женщины. — А где Дима? Он не приехал? Это я — мама Димы! Проходите, мальчики! А сыночка? Как он там, мой Димочка?

Она засуетилась, забегала, не зная, куда лучше посадить нечаянных гостей и друзей сына — другим он не дал бы адрес. Она говорила и говорила. Мимоходом, незаметно закончила уборку. Тут же на столе появился ужин, шампанское. А когда ребята, умывшись, усадились за стол, вошла и она, мать Димы, нарядная, красивая и удивительно молодая.

Она много рассказывала о сыне, расспрашивала о нем, о самих ребятах. Вместе рассматривали альбом с фотокарточками сына, сидели далеко за полночь за так и забытым шампанским.

Санька почти все время молчал и все наблюдал за этой живой, веселой, интересной женщиной. И его мучили сомнения и недоверие: неужели такое возможно. Она постелила им белоснежные постели в комнате сына: одному — на диване ("Костя, ты такой большой, будешь спать на сыночкином диване"), другому — на двух сдвинутых креслах с откинутыми спинками ("Ты, Сашенька, так сказать, в легком весе, надеюсь, кресла тебя выдержат"). Пожелав им спокойной ночи, она ушла в свою комнату.

Ребят смутила эта снежная белизна постелей, хотя перед сном они приняли душ. Но на эти постели так и не легли. Аккуратно свернув всю белизну, укрывшись пледами, проспали до утра и так.

Утром в дверь тихонько постучали: "Мальчики, пора завтракать". Проводив

маму Димы до работы, они пообещали ровно в тринадцать ноль-ноль быть в ресторане, где она обычно обедала.

У ресторана в назначенное время они встретились и нерешительно, смущенно сообщили, что обедать не пойдут, что перекусили "тут кое-что". Но мама догадалась: "Мальчики, вы думаете, что я пригласила вас обедать на ваши деньги? Нет, мои хорошие, пойдемте хоть вы вместо сына и не обижайте меня".

Этот довод оказался убедительным. Перед обедом она спросила, могут ли они позволить себе по рюмке сухого вина. И, убедившись, что могут, заказала немного легкого вина. Отобедав, ребята проводили меть своего друга на работу, посидели в ее кабинете, поговорили еще. Вечером они уезжали, и она пришла на вокзал проводить их. На прощанье поцеловала ребят, передала для сына объемистый сверток...

Санька был изумлен и восхищен. Но не менее изумил и он Костю тем, что почти все время, кроме сна, на обратном пути он говорил. В Саньке как будто оттаяло и прорвалось то, что хранилось застывшим в течение долгих лет в его доброй, но закрытой душе.

Конечно, приехав, Санька сблизился с Димой, как с братом. Он получил квартиру, и первым его гостем был Дима. "Я хочу, чтобы ты первым перешагнул порог моей квартиры", — сказал он. "Ты что, Сань? Я тебе кошка, что ли? Говорят, первой в дом надо впустить кошку, чтобы в нем были лад, покой и доброта", — смеялся Дима, но просьбу Саньки выполнил, так как Санька сказал, что Дима счастливый.

Через несколько месяцев Санька вновь поехал в командировку на тот же завод. Он с удовольствием и некоторым страхом (а вдруг она, такая молодая и красивая, изменила себе и вышла замуж?) шел к знакомой матери. Но страхи его были напрасными. Эта мать жила тем, что ждала со службы сына.

Она опять говорила о Диме, расспрашивала о Косте (он уже демобилизовался), о Саньке, его планах, жизни, о детстве, матери, сестре. Саньке было легко и тепло около этой материнской любви.

Он чувствовал искренний, неподдельный интерес и даже свою нужность ей, этой матери, ее тревогу и заботу о нем. Он грелся в лучах материнской доброты и отходил душой, чувствовал себя мальчиком, сыном, тем более, что она ласково обращалась к нему: "Сыночек!". Теперь Санька стремился сюда даже после того, как, отслужив, Дима уехал домой. Они не писали друг другу писем, но знали, что уж два раза в год Санька будет в этом доме обязательно.

В жизни его произошли приятные перемены; женился и родилась дочь. Конечно, назвал он свою дочь именем Диминой матери: так запала ему в душу, отогрела ее, дала веру эта самоотверженная женщина. Пожалуй, только ее великая материнская сила открыла ему душу и вселила веру в любовь, семью, жизнь.

Санька не был у Димы год. И вот снова — весна, знакомый город, знакомый подъезд, дверь. Позвонив и волнуясь, Санька услышал тяжелые, медленные шаги. Не спрашивая, дверь открыли. Санька застыл: на пороге стояла вся в черном, седая, убитая горем, с потухшим взглядом прекрасных карих глаз старая женщина — Димина мама. Он узнал ее с трудом. Она обняла его и зарыдала. Легкое, иссохшее тело обмякло, она едва не упала. Санька поддерживал ее, усадил на диван, сел рядом и все понял, увидев на детском коврике на стене, в золоченой раме с черным бантом увеличенный портрет Димы. "Несчастный случай, — как

шест листы, доходил до его сознания голос матери... — сегодня — полгода". Он обнял худенькие плечи и не мог выговорить ни слова. Диму он считал братом, верил ему больше, чем самому себе. Он был огромной частью его жизни, его души. Этот удар был настолько страшным, что, казалось, на него обрушилась черная стена и придавила, прибила, придушила. Кажется, до сих пор он не знал еще, что такое горе...

Пробыв у матери Димы два дня и прощаясь с ней, он сказал: "Наш отряд переводят в Афганистан. Когда вернусь, обязательно приду к вам, мама!" Он обнял эту сломленную горем женщину и послушно наклонился для троекратного — по русскому обычаю — поцелуя. Затем быстро ушел, не оглядываясь: слишком больно было видеть ее такой!

Он не видел, как она перекрестила его вслед и долго стояла, опустив руки и голову, без слез и мыслей, опустошенная и обессиленная.

Когда состав со всем отрядным имуществом и техникой проследовал через этот теперь уже дорогой его сердцу город, остановки здесь не было и Санька не смог еще раз повидаться с матерью его друга и названного брата...

Он ничего не успел за два месяца в Афгане, как коротко называли парни эту страну. Осколки разорвавшегося снаряда пробили его грудь в нескольких местах сразу. Санька упал на сухую каменистую землю чужой страны, и в его глазах отразилось голубое небо с клубами белых облаков. Угасающее сознание высветило нежную улыбку склонившейся над младенцем матери, а затем — потухший взгляд прекрасных карих глаз и ласковое: "Сы-но-о-ок"... "Ма-ма..." — беззвучно прошептали его мертвеющие губы, словно легкое колебание горячего воздуха, исходящего от чужой раскаленной земли в неподвижную вечность.



Виктор Помилуйко

Родился 6 августа 1940 года в селе Александровка Чкаловского района Приморского края. Детство его прошло в г. Вяземске Хабаровского края, где закончил среднюю школу и начал трудовую деятельность в «районке» «Ленинский путь», затем работал в газетах «Молодой дальневосточник», «Биробиджанская звезда»; помнят его и как собственного корреспондента «Тихоокеанской звезды» по Еврейской автономной области.



Печатался Виктор Алексеевич в центральных изданиях, в частности, в газете «Сельская жизнь», журналах «Кукуруза», «Земля сибирская и дальневосточная», «Картофель и овощи», «Пчеловодство».

В Хабаровском книжном издательстве вышла брошюра Помилуйко В.А. «Резервы картофельного поля» с рассказом о работе лучшей бригады Журавлева Н.А. из Екатеринино-Никольского - лауреата Государственной премии СССР.

Виктор Помилуйко участвовал в коллективных публицистических сборниках. В журнале «Дальний Восток» опубликовал несколько очерков. Отмечен дипломами, почетными знаками за лучшие работы в творческих конкурсах. Ныне Виктор Помилуйко выступает как фотокорреспондент, очеркист, публицист в местной прессе. Он является секретарем областной журналистской организации.

ЕСТЬ УЛИЦЫ...

Размышления над картами и схемами города Биробиджана

«Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней», - поет Юрий Антонов. А у нас, в Биробиджане, улицы тихие, как бы поближе к природе, по-своему привлекательные зимой и летом. Природной красотой берут - сезонным нарядом бархата, клена, ореха и круглогодовым - елей, пихты, сосны и даже кедра.

1. ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ

Авторы текста к карте «Биробиджан и его окрестности», изданной восемь лет назад, утверждают, что в нашем городе свыше двухсот улиц.

- Можно назвать и более точную цифру, - сказала начальник Биробиджанского бюро технической инвентаризации Людмила Федоровна Шафорост, познакомив с настоящей картой города. И я насчитал в нем 254 улицы и переулка. А сама карта города навела на размышления.

Город, рожденный и выросший в советское время, в названиях улиц утвердил свою привязанность к политике того времени - особому увековечиванию официальных лиц и красных дат в календаре.

Так что одни из нас живут на улицах имени Ленина, К. Маркса, Дзержинского, Кирова, Калинина - деятелей советского периода. Сохранились карты, утверждаю-

щие, что одна из улиц Биробиджана была названа именем Жданова. Но под давлением общественности областного центра улица с именем главного борца с инакомыслящими, чем он, была переименована. Теперь эта улица Комбайностроителей.

Другие прописаны по Октябрьской, Советской, 7 Ноября, Комсомольской и Пионерской. В дни красных дат, широко отмечавшихся до 1992 года, у жителей этих улиц довольно часто брала интервью местная пресса.

В городе воздана память российским военачальникам Суворову и Кутузову, историческим знаменитостям - Пугачеву и Хмельницкому. Не забыты Чапаев, Щорс, Лазо, Постышев, Серышев, Мухин - выдвинутые военных действий послеоктябрьской России. Названия улиц хранят память и Героев Советского Союза: красnodонца Олега Кошевого, наших земляков Иосифа Бумагина и Михаила Стяжкина, подвиги которых описаны биробиджанским писателем и журналистом Михаилом Шевелем, пограничника Ивана Стрельникова, погибшего при защите острова Даманский. Свою службу он начинал в наших местах, на заставе в Головино.

Глядя на карту, чувствуешь, что те, кто давал названия улицам, были и почитателями талантов. Целое собрание в названиях: Радищев, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Шевченко, Гоголь, Тургенев, Белинский, Горький, Маяковский, Шолом-Алейхем, и биробиджанцы-современники старшего поколения горожан: Эммануил Казакевич, Борис Миллер. Однако из художников почитаем один Репин. В названии улиц отражен род занятий первых горожан (Инженерная, Крестьянская, Кузнечный переулок...), их национальность (Украинская, Белорусская, Казахская, Корейская, Литовская, Молдавская, Туркменская, Болгарская), привязанность к прежним местам проживания (Алтайская, Московская, Одесская...).

Но вот что интересно: город наш речной. С одной стороны его делит Бира, с другой - Икура. А в междуречье - озер, болот, карьеров! Так что вполне объяснимо появление в городе улиц Болотная, Заливная, Ключевая, Левобережная, Междоузренная, Разливная, Озерная, Речная. Однако ни моря, ни океана в округе, как известно, нет. Однако улицы Океанская и Морская есть. Почему они так названы?

Даже гадать не надо, почему в нашем городе есть улицы Северная, Южная, Восточный переулок. В их названиях, конечно же, учтено соотношение к сторонам света. Западу - поклон дважды: улица Западная, переулок Западный. Но...

Пойдешь в сторону Гнилушки в сезон грибов и ягод и сразу угадаешь, почему улица перед Ургальской названа Морской?

2. БОЛЬШАЯ ВОДА

- А вы приходите к нам, когда снег начнет таять. Можно и в затяжные дожди заглянуть сюда. Сразу поймете, почему наша улица - Морская, - ответил на мой вопрос Георгий Федорович Ницэ. Бывший тракторист восстановительного поезда, базирующегося за западным переездом Транссибирки, давно живет на Морской. На его глазах Икура, протекающая по соседству с домом, в засушливое лето едва заметная, широкая разливалась неоднократно. Тогда жители улиц Морской и Ургальской становились островитянами. До угла Дальневосточной приходилось по пояс брести по воде, вспоминает Георгий Федорович Ницэ:

- А по ту сторону, напротив релок, болото разбухало. Посмотришь - вокруг

вода. Одна вода! Чем не море?

- Спорить не буду. Возможно, там и море. Зато у нас - океан! Улица потому и называется Океанской, - услышал я на другом конце города. Это было на улице с видом на дальсельмашевскую сопку. Там переходя с дома к дому, я разыскивал старожиллов городской окраины.

- На глазах бабы Гали прошла здесь жизнь, - говорили мне молодые хозяева частных домовладений, показывая на одну усадьбу.

Увы, окна дома бабы Гали заколочены досками. Это теперь ее летняя резиденция - «фазенда»: огород, садик. На зиму, как и другие из проживающих в этой стороне, она переселяется в одну из городских многоэтажек. Там - тепло ТЭЦ. А на Охотской и Океанской самим надо печи топить, запастись топливом.

Переходя от дома к дому, я вышел на Виктора Иннокентьевича и его семью. Глава ее 31 год работал шофером на «Дальсельмаше». Жена его - Антонина Митрофановна - со стажем в 36 лет, ушла на пенсию со швейной фабрики. Работа каждого из супругов отмечена медалями. Оба - ветераны труда, что дало им некоторые льготы.

Виктор Иннокентьевич Куров на семь лет старше Биробиджана. Детство его началось в поселке, ставшем городом. Он помнит железнодорожную станцию Тихонькая. Может показать, где по Бире - выше Раздольного - стояли гольды. Так здесь называли нанайцев.

- На протоке Гольдячей я и сейчас часто бываю. Хожу рыбачить, - заметил Виктор Иннокентьевич.

Он помнит длинные причудливые лодки, на которых гольды передвигались по Бире, отталкиваясь шестами. Они ловили рыбу, а в ближайшей тайге в те времена - охотились на сохатого, кабана и козу.

Поселились Куровы здесь почти сорок лет назад. Глава семьи сам срубил дом 6х9 метров. Сруб был из лиственницы, спиленной в ближних релках. Сам корчевал участок под огород и сад. Шесть соток. Больше не разрешалось.

Дом Куровых приписан к Охотской. Но окна выходят и на Океанскую, солнечную сторону, с видом на сопку и дома, построенные в первые послевоенные годы. Куровы справляли здесь новоселье, когда на Океанской уже в два ряда стояли дома.

- Когда разливалась Бира, - вспоминает Виктор Иннокентьевич, - то вокруг была сплошная вода. Океан! Наши дома тогда оказывались как бы на острове.

Островитянами Куровы с соседями чувствовали себя неоднократно. Видно, не зря тунгусское племя, бывавшее здесь, дало имя реке Бира - «Большая вода».

В те времена, когда строился город, Бира легко несла с верховьев тысячи кубометров древесины для лесоперерабатывающих предприятий города-стройки. Так что и название улицы Деревощирпотреб вполне объяснимо. Как и улицы Океанской.

Однажды «Большая вода» так разбушевалась, что «островитянам» вертолетом доставляли на сопку хлеб и другие продукты.

- Все в воде было, - помнит Виктор Иннокентьевич. - Но мы нащупывали тропу от дома и спешили к сопке.

Вода спадала, и все здесь плавало: пастбища, сенокосы, охота, рыбалка, обилие

грибов и ягод. Жили и радовались здешние горожане, не пугаясь разливов Биры, разбухших болот в округе.

Выросший в городе, часто оказывавшемся островом, Виктор Иннокентьевич и работу сначала выбрал себе на воде. Это позже была тридцатилетка на «Дальсельмаше». А до этого он работал мотористом на катере с ... колесами.

На «Пионере» - так назывался катер - Куров «шлепал» от пристани в Желтом Яре вниз по Бире. Оттуда из прибрежных сел команда катера вывозила овощи, арбузы картофель. И лишь из Желтого Яра автомобильчики свозили урожай областной центр.

... А настоящий океан Куров все-таки видел. Это было тогда когда он на три года покинул Биробиджан, чтобы отслужить срочную на Курильских островах. Что же касается нашего океана - временного, разливного о нем напоминает улица Океанская: рядом, мол, большая вода.

Интересно, а что в имени улицы Центральной? Ведь она не там, где ей положено быть по названию. Она далеко от центра нашего города.

И двух лет не прошло, как образовалась область, а в Биробиджане - еще поселке - объявилась интересная «мальчишеская компания». Ядро ее составили будущая всесоюзная знаменитость Эммануил Казакевич (Эмка - для друзей) - поэт и писатель, Шолом Либкин - одаренный писатель и журналист, и будущий орденоносец Борис Миллер - пока учитель, писавший стихи. Любила эта компания гулять вечерами по улицам будущего города на Бире.

3. ГЛАВНЫЕ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ

«Когда мы всей компанией высыпали из дома, было уже довольно поздно. Эмка и Либкин тоже вышли, и все вместе мы отправились вверх по Октябрьской улице, - пишет Б.И. Миллер в повести «Ясность». - Миновали обширное болото и вышли к деревянному мосту, удивившему к далекой сопке,».

«Вот мы с Октябрьской выйдем с тобой на Ленинскую, свернем влево, на Комсомольскую, пересечем Дзержинскую, а там и Волочаевская», - так объяснил Эмка, уводя к знакомым красавца и богатыря, командира-пограничника.

А вот еще: «Дойдя до единственного в городе трехэтажного здания, где помещались областной комитет партии и областной исполнительный комитет, мы повернули обратно и зашагали вниз, к Октябрьской улице».

В повести «Ясность» улица Октябрьская упоминается неоднократно. Это не случайно. Куда бы ни шла «мальчишеская компания», а все пути-дороги ее упирались в эту улицу.

В беседах-воспоминаниях с биробиджанскими и хабаровскими журналистами Борис Израйлевич Миллер всегда подчеркивал, что Октябрьская была главной улицей строящегося города. Заметьте, главной, а не центральной.

А все потому, что с названием Центральной уже в то время закладывалась улица за полотном железной дороги в возводимом поселке Швейный.

Я проходил по Центральной неоднократно. И когда два года назад спешил на официальное открытие птицефермы объединения «Биробиджанлебопродукт», и когда, переходя от дома к дому, пытаясь выяснить, почему улица на дальней окраине города названа Центральной.

В ответ мне пожимали плечами:

- Назвали...

Но как при этом не вспомнить «Белое солнце пустыни» с Саидом:

- Стреляли...

Прогуливаясь по Швейному, есть над чем поразмышлять.

Улица Центральная - не место сосредоточения чего-нибудь, что притягивало бы сюда жителей всего поселка. Вот Черноморская, параллельная Центральной, - это да. Туда ежедневно приходится ходить. Ведь там и продовольственный магазин фирмы «Колос», есть ИЧП Олег». А на Центральной и этого нет.

С Пищевой все понятно. Улицу строили и заселяли работники... кондитерской фабрики. Прежде она была там, где сейчас производственные помещения Западных электрических сетей.

- Какие соевые пряники выпускала фабрика! - вспоминает свое детство Алексей Павлович Неверов, своей нынешней работой привязанный к уголку на Ушумуне. - До сих пор чувствую вкус этих пряников...

Его отец, работая в гараже швейной фабрики - ведущем предприятии молодого города, одним из первых поселился на Пищевой. Корчевал деревья, разрабатывал огород, закладывал сад. И, конечно, построил собственными руками дом.

- Родители моего мужа, - рассказала при встрече и Фаина Гавриловна Штукарина, 32 года проработавшая на швейной фабрике, свой дом в поселке поставили до войны. На улице Славянской. В этом доме неоднократно обновленном, я и сейчас живу... Центральная к тому времени, когда родители моего мужа облюбовали место для дома, уже была.

Эта улица по центру поделила репку - самую большую в округе, самую удобную для огородов и садов, с островом нетронутого леса среди болота и разливавшейся Икуры.

Дети первостроителей поселка Швейный - давно дедушки и бабушки - рассказывали мне, какой могучей и полноводной была Икура:

- Весной по реке сплавляли лес - дрова для обжига кирпича на местном заводе.

- Нет, не та нынче Икура. Какая-то змейка мутной воды, засоренная чем попало, - утверждает Фаина Гавриловна Штукарина, ветеран труда, отмеченная государственными наградами. - Бывало, идем в два ночи с работы - почти половина поселка. Песни поем, веселимся! А летом на Икуре и рассвет встречали. Накупаемся!

Близость реки, высокое место, нетронутый лес, материал для жилья, дальше - изобилие клюквы, голубики, калины, шиповника, грибов, лещины (орехов) - вот что привлекло внимание швейников. Здесь они построили свой жилой поселок.

- В пятнадцать минут ходьбы от фабрики, - заметила Фаина Гавриловна Штукарина.

Улица Центральная надвое разделила поселок. Совхозная, Пищевая, Славянская, Суворова и Хинганская, поперек врезавшись в Центральную, поделили поселок на кварталы.

Так что есть в нашем городе улицы главные - Шолом-Алейхема, Ленина, Димитрова, Пионерская, Калинина, Советская, Комсомольская... и Центральная недалеко от центра города, на окраине, за западным железнодорожным переездом.

А вообще-то, в нашем городе немало улиц, удивляющих своими названиями. Ходили-бродили инженеры-изыскатели, отводя земли для будущей железнодорожной станции. Повстречались с Тихоньких - казаком станицы Головино. И назвали его именем полустанок, переросший в станцию. Со временем в Биробиджане появилась улица Тихонькая, переулок Тихонький. Об этом около 30 лет назад рассказала на страницах «Биробиджанской звезды» журналистка Алла Паташова.

С улицей Косникова тоже все ясно. В честь биробиджанского парнишки, погибшего в Афганистане, улица Дёповская переименована. А вот Физкультурная и переулок Спортивный, как говорится, ни к селу, ни к городу. Ни стадиона в тех местах, ни физкультурно-оздоровительной площадки. Но названы: Физкультурная, переулок Спортивный. Или...

4. САНАТОРНАЯ, С ВИДОМ НА... КЛАДБИЩА

Уже в полдень жара была невыносимой. Как и в предыдущие недели. Болота вокруг города так высохли, что в тачочках можно было пройти от релки к релке. Но что это?

На участок, расположенный в управленческом здании мясокомбината, заявились избиратели в... болотных сапогах - грязных, в торфяной окраске.

Отозвавшись от своих наблюдательских функций в день первого тура президентских выборов, спрашиваю у вошедших:

- Вы откуда?

- С Санаторной! - гордо ответили они.

Шутка-розыгрыш? Какие тут санатории? Болота, огороды с сараями да дома не первой молодости - вот что из себя представляет мясокомбинатовский поселок. И вдруг - Санаторная!

Впрочем, почему и не розыгрыш? Знаю, розыгрыши были в ходу у первостроителей. Тут же вспоминается книга хабаровского писателя Александра Чернявского «Есть у памяти начало». А в ней приводится рассказ корифея биробиджанской журналистики Наума Моисеевича Фридмана.

... Происходило все это первого апреля 1935 года. Типография и редакция газеты «Биробиджанер штерн», где в то время работал Наум Моисеевич, тогда находились в разных зданиях, метрах а полторах друг от друга.

«Фридман, - читаю в книге Александра Чернявского, - в тот день был дежурным по номеру и ушел в типографию за оттиском полосы. Вдруг раздался телефонный звонок: немедленно возвращайтесь - у нас пожар! Звонил Казакевич. Сообразив, какой сегодня день, Фридман расхохотался над попыткой одурачить его и вышел на крыльцо типографии покурить. Каково же было его изумление, когда он увидел, что сотрудники редакции и Казакевич тоже вытаскивают из здания столы, стулья, подшивки газет».

«Быстрее ветра помчался я на помощь товарищам, - неоднократно потом вспоминал Наум Моисеевич, - в честности которых усомнился. Но, прибежав, я вконец растерялся: друзья, оседлав столы и стулья, хохотали до слез надо мной. Конечно же, никакого пожара не было, и Казакевич, как блестящий стратег, разыграл шутку с выносом мебели, дымом, чтобы все же обмануть неверующего». Вот так разыгрывал друзей, понимавших шутку, один из первостроителей нашего города Эммануил Казакевич - будущий знаменитый советский писатель, автор

незабываемой «Звезды».

Однако вернемся к улице Санаторной.

- Напрямик прошли, через болото, вдоль мясокомбинатского забора, - объяснили свое появление в «болотниках» на избирательном участке жители улицы Санаторной.

Улица эта левее автомагистрали на Сидович, за мясокомбинатом, видом на старое и новое кладбище, между которыми так и осталась неосвоенной площадка под овощеконсервный завод.

- Когда мой отец выбрал место под дом - это было до войны, - рассказывает 63-летний Иван Прокопьевич Толщин, - здесь был лес. В основном строительный.

Из листвяка и начал на бугорке сруб для дома Прокоп Михайлович. Но не закончил: война помешала. В 1943 году он погиб...

Дом достроила вдова - Евдокия Васильевна, наняв рабочих. Тогда же поблизости построились Павельевы, Барсовы. Улиц тогда в той стороне еще не было. Адрес у всех был один: Биробиджан, поселок Мясокомбинатский. Почтальон всех знал в лицо.

- В школу - первую, что по Комсомольской, - вспоминает Иван Прокопьевич, - ходил пешком. Часто по затопленным улицам - Советской и Комсомольской.

По нашему времени - это четыре остановки автобуса по маршруту №5.

- Сама улица, - вспоминает Лидия Сергеевна Бянкина, - возникла в начале пятидесятых годов. Строились там, где сами желали. Места вокруг привлекали неподалеку рыбные Бира, Икура, много озер и карьеров. Релки, богатые грибами и ягодами.

Дом Л.С. Бянкиной и сейчас стоит на том же месте с живым памятником - елью, посаженной покойным мужем Юрием Васильевичем.

А первенца улицы - дома, возведенного первым поселенцем Санаторной, давно нет. На его месте стоит новый, поставленный из бруса сыном фронтовика Толщина.

Санаторная - это около двух десятков домов. В названии улицы - сатира и юмор, горький намек на условия жизни, повседневный физический труд, чтобы жить...

В распутицу здесь трудно пройти. Всегда надо быть настороже, чтобы не затопило погреба с урожаем. Газет и журналов - раз-два и обчелся. Не у всех радио, все новости - по телевизору. Далеко магазин.

Но люди здесь живут десятками лет. Сюда переселяются, покупая дома, с Крайнего Севера и, покинув по каким-то причинам, с Поволжья, Забайкалья. Здесь - белоснежье зимой, чего нет в центре, и плодоносящая зелень летом, много живности.

- Живем, как в санатории, - улыбается бывший улундэнский тепловозник Николай Николаевич Бурков, - воздух чистый, бодрящий, пища здоровая и трудотерапия во дворе и на огороде обязательная.

А может быть, все-таки правы те, кто назвал наши улицы: Детская, Динамовская, Зеленая, Местная, переулочек Облачный... Интересно, кто давал названия улицам города, выросшего из безвестного железнодорожного полустанка в центр субъекта Российской Федерации?

С трех сторон в каждый свой приезд на Лукаши, заходил на Флотскую. Все пытался расспросить ее жителей, почему так названа эта улица. Но...

У одного дома в ответ лишь пожали плечами. У двора другого - на свеженину пригласили: только-только боровка там разделали.

Позже мои собеседники на чай приглашали, не скрывая, что хочется им поговорить о жизни в городе и области. А мне любопытно было, что же таится в имени улицы Флотской, проложенной за болотцем на левом берегу Икуры.

- А кто его знает? - слышал в ответ то в одном подворье, то в другом. - Давно называли улицу так. Привыкли, - и переходил разговор о... дяде Коле - подвижнике.

5. Дядя Коля Небуров и лукашовские сады

Вот-вот на городской окраине, названной в честь мичуринца, знаменитого дальневосточного садовода-селекционера Лукашова, зацветут сады. На Весенней, Тимирязевской, Лукашова... Поселок будет в белой кипени сливы, груши, розовой ранетки, вишни. Начало здешним садам, щедро деясь саженцами от Лукашова, положил Николай Фролович Небуров. Садовод-любитель, глава большого семейства - восемь детей.

Николай Фролович, часто бывая у Лукашова, многому у него научился. Знания, приобретенные в Хабаровском питомнике, распространял среди соседей. Он научил округу прививке на деревьях, разбираться в сортах, как разбить сад на обживаемой тогда релке, ставшей поселком. Не преувеличивая, скажу, что Лукашова - поселок за западным переездом Транссибирки - самая цветущая окраина нашего города.

- Мне-то и детство запомнилось диковинными черносливами и большими грушами от дяди Коли, и рассказывал мне у небольшого дома на углу Весенней, прорезавшей улицу Лукашова, дед Саша. Здесь жил знаменитый биробиджанец послевоенных лет Николай Фролович Небуров - садовод-любитель, один из героев «Зеленой книги» дальневосточного писателя Рустама Агишева. О нем, как подвижнике, учившем округу разводить сады в окружении болот и разливов Икуры, в свое время много и часто писали краевые и областные газеты.

Десятки лет минули с тех пор, а дядю Колю, умершего рано - в 54 года от роду, помнят Лукаши. Жалуют там, что нет больше дяди Коли.

- Не стало дяди Коли, - уверял меня на автобусное остановке, что напротив небуровского дома, другой бывший лукашовский мальчишка, - и в упадок пришло большинство садов. Видь никто теперь, как дядя Коля, не одаривает нас удивительными саженцами, не учит, как при любом лете получить отменный урожай плодов. Нет рядом запевалы!

Вот так. Нет человека, но память о Николае Фроловиче Небурове жива и после его жизни. Она - в садах, заложенных на огромной релке, окруженной болотами. Ненавязчивая память, оставленная в деле, подхваченном тысячами биробиджанцев.

И тут мне вспоминается одна газетная публикация пятилетней давности с идеей одного биробиджанского старожила. Он, поразмышляв над идеологизированными названиями некоторых улиц областного центра, предложил переименовать их в честь знатных горожан. Вот тогда, пять лет назад, я и прошел по тем улицам,

спрашивая у обывателей, что знают они о тех, чьи имена могут быть в их паспортах - на штампе о прописке. В ответ, увы, полное невежество о кандидатах на уличные таблички.

Да что там о наших знатных говорить, известных очень узкому кругу горожан, близких к власти, если не все и российские звезды известны на улицах, чьи имена они носят.

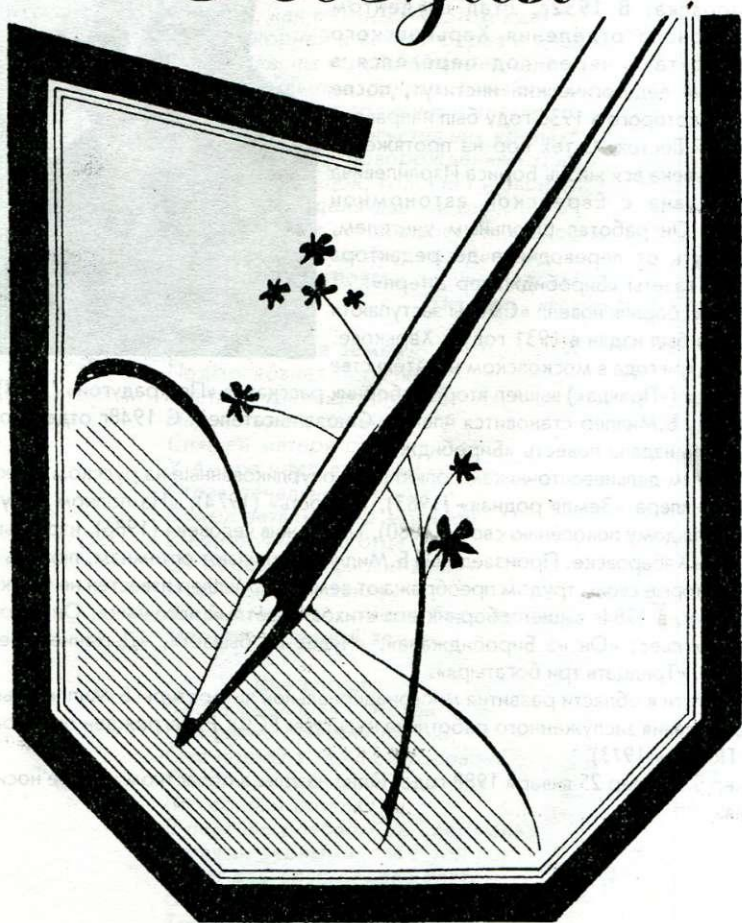
На улице, названной в честь русского художника, мне охотно и многие показывали некогда законспирированное пристанище местных баптистов - невзрачный домик. А вот кто такой Репин, что известно о нем - никто так и не ответил. Кстати, так сплошь и рядом. Старики - первые поселенцы этих улиц - уходят один за другим в иной мир, а внукам и правнукам, откровенно говоря, и дела нет, что в имени той или иной улицы. Так, к примеру, было на Черноморской и Гвардейской.

Впрочем, не удивительно. По рассказу ветерана коммунальной службы нашего города, причастной к названиям улиц, имена им часто давались... с потолка, как кому захочется (переулки Высокий и Малый), из чиновничьей любви к кому-то из великих (писателей и полководцев), по настоянию партийного органа (идеологические), по фамилии первого строителя дома (Ульяновская, Тихонькая) и т.д.

Горожане привыкли к названиям своих улиц, живя с ними десятки лет, давших свои адреса всем близким и знакомым по России: Аврора, Артиллерийская, Биршоссе, Воинская, Динамовская, МТС, Оборонная, Складская, Слободская... 254 улицы и переулка, включая проспекты.

Вон сколько улиц в нашем городе! Пусть кому-то и не нравятся названия некоторых из них. Но в их именах - пласты истории нашего города, отмечающего в этом месяце свое 60-летие. Очень отраднo, что с названиями улиц, переулков и проспектов уживается и память о людях, увековеченная делами ради тысяч горожан. Таких, как Николай Фролович Небуров, давший начало массовому садоводству в городе. Хотя улицы в его честь и нет...

Поэзия



Борис Миллер

Известный поэт, прозаик, драматург родился 21 апреля 1913 года в местечке Копий на Украине.

После окончания семилетки работал учеником, а затем рабочим на одной из фабрик г.Хабаровска. В 1932г. стал студентом литературного отделения Харьковского пединститута и через год перевёлся в Московский педагогический институт, после окончания которого в 1936 году был направлен на Дальний Восток. С тех пор на протяжении более полувека вся жизнь Бориса Израйлевича была связана с Еврейской автономной областью. Он работал школьным учителем, прошел путь от переводчика до редактора областной газеты «Биробиджанер штерн».

Первый сборник новелл «Смены заступают» Б.Миллера был издан в 1931 году в Харькове.

Спустя три года в московском издательстве «Дэр Эмес» («Правда») вышел второй сборник рассказов «Под радугой» (1934). В 1940 году Б.Миллер становится членом Союза писателей. С 1948г отдельной книгой была издана повесть «Биробиджан».

Читателям-дальневосточникам полюбились опубликованные на русском языке книги Б.Миллера «Земля родная» (1963), «Ясность» (1974), «На полном ходу» (1977), «Каждому поколению свое» (1980), «Пока жив человек» (1986), изданные в Москве и Хабаровске. Произведения Б.Миллера отличают оптимизм, любовь к людям, которые своим трудом преображают землю. Б.Миллер известен не только как прозаик, в 1984г вышел сборник его стихов «Светлый источник». Он автор нескольких пьес: «Он из Биробиджана», «Чудес не бывает», «Дыхание моей любимой», «Тридцать три богатыря».

За заслуги в области развития многонациональной литературы Б.Миллер был удостоен звания заслуженного работника культуры РСФСР, награжден орденом «Знак Почета» (1973).

Умер Б.Миллер 25 января 1988 года. Одна из улиц в областном центре носит его имя.



Еще вчера был парк и гол и сер,
Стучали ветви зябкие в аллеях,
И пыльный полумрак над ним висел,
И небо было ниже и бледнее.
В ночи прошелестел по крышам дождь,
Смыв желтый клей с растрескавшихся почек.
Шагни в рассвет.
Не жди. Чего ты ждешь!
Узнай весны знакомый с детства почерк.
Услышь, как с тихим рокотом идет
Сок от корней к ветвям берез и кленов.
Заметь весны стремительный полет
И мир увидь прозрачным и зеленым.
Как переливчат солнечный клавиш,
Запутавшийся в погустевших кронах!
Как светел он - новорожденный мир,
Как чист и хрупок, голосист и звонок.
Еще всего неделя-две - и он
Вновь обретет устойчивость и зрелость.
Но в эти дни наш мир незащищен,
Чтоб птицам и поэтам звонче пелось!

Перевод с еврейского В. Соломатова

Родная земля

Подмосковная березка,
Светлой трепеща листвою
Над могилой, осенила
Спящей матери покой.
У Амура кедр высокий —
Страх печального конца —
Взмыл ветвями над могилой
В ней почившего отца.
От березки подмосковной
И до кедра из тайги —
Ширь Отчизны... Мощь бессмертной
Матери — родной земли...

Две сосны

Сосна зависшая... Когда
Нежданно срезана пилою,
Она поникла хвойной головою.
Сестра, ее постарше,
Что вблизи стояла,
В паденье роковом ее сдержала
Ветвями верными... И с той поры
Стоят две сосны — две сестры,
Объятые крепким сплетены.
Трепещут обе на ветру,
Его порывы отрезая,
И ревностно хранит сраженную сестру
Сестра живая.

Баллада о любви

Влюбленные стояли рядом -
Сосна и кедр молодой -
Друг с другом, ненасытным взглядом
Любуясь утренней порой,
И в полдень смутный или светлый,
И в золотом закате дня...
И трепетно в их каждой ветви
Дрожала радость бытия...
Тайги кругом семья большая
Оберегала молодых,
От бурь и грома заслоняя
Нетронутое счастье их.
Но вот весенним ранним утром -
Его запомнила тайга -
В росистом свежем перламутре
Завыла грозная пила.
Качнулся кедр. И, умирая,
К сосне метнулся, застонав,
В тот миг подруга молодая,
Надломленно затрепетав,
В порыве вся неукротимом
Прильнула преданно к нему.
И, с кедром обнявшись любимым,
Упала, грохнув на траву...



Наум Фридман (1906 – 1977)

Трудно, пожалуй, назвать более колоритную фигуру среди старшего поколения творческой интеллигенции Биробиджана. Блестящий журналист, редактор, критик, поэт... Таким в нашей памяти остался Наум Моисеевич Фридман. Родился он в 1913 году в глухой белорусской деревне Ломуш, что на реке Припять. Рос в большой еврейской семье, где получил домашнее традиционное воспитание, познав азы древнееврейского языка, Священного Писания. Еще мальчиком написал первое свое стихотворение. Он знал: в сорока километрах от родных мест есть город Калиновичи, где можно сесть на поезд, и он умчит тебя в большой загадочный мир... И лелеял мечту о поездке в Гомель, где был еврейский педагогический техникум.



Вот уникальный документ – свидетельство о том, что Наум Фридман с 1 сентября 1926 по 26 мая 1931 (после учебы в Гомеле) в Московском педагогическом институте выполнил все требования учебно-производственного плана по специальности еврейского языка и литературы и по личной просьбе поехал в Биробиджан. Надо отметить, что он изучал русский язык самостоятельно и знал его не хуже родного.

В Биробиджане Фридман Н.М. стал работать в газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн», сотрудничал в центральных издательствах «Эйникайт», «Дер-Эмес». Был редактором первого поэтического сборника Эм.-Казакевича «Биробиджанстрой», членом редколлегии общественно-политического и литературно-художественного альманахов «Биробиджан», «Форпост». Выступал он как критик, литературовед, поэт, публицист.

С первого до последнего дня был участником Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды. После войны капитан запаса Фридман Н.М. опять трудится в средствах массовой информации области. 17 мая 1951г. был арестован и пять лет находился в ГУЛАГе как «враг народа». После освобождения продолжал трудиться в газетах «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн» и областном радиокомитете. Например, в газете «Биробиджанская звезда» вел популярную для детей рубрику «Колобок».

Умер Фридман Н.М. с пером в руках, не дописав строку.

УТРЕННЕЕ

Раннее утро, легкий холодок,
Каблуки по площадке – цок да цок.
Самый прекрасный на свете парад –
Молодые папы, молодые мамы
В садик ведут своих ребят.
Все – на загляденье – высоки, стройны.
Шагает поколение, не знавшее войны.
Мамам и папам малыши под стать –
Для грядущего славная рать!
Век бы так ощущать свежий холодок,
Век бы слышать этот цок да цок.

СТАРЫЕ ИМЕНА

У девчонок, мальчишек бывает пора:
Каждую минуту - новая игра.
Идут из школы, болтают наперебой -
Народ юмористов, да еще какой!
Все непоседы, как на подбор,
Вдруг об именах заводят разговор:
- Есть у меня прабабка по имени Агапка.
- А у меня старикан, его зовут Африкан!
Галдят, хохочут будущие пионеры,
Тащат, как из портфеля, примеры:
У одного был дед Пантелей,
У другого дед - Савваттей.
А один смешной и ушастый пострел
Такое в паспорте подсмотрел -
У деда не имя - настоящий компот:
Мойша-Шлема Раппопорт!
У внука такая фамилия тоже,
Но дети смеются:
- На что это похоже?
Фамилия красивая, хорошая, важная,
Но почему у дедушки
Имя двухэтажное?
- А моя бабка - хоть со смеху помирай! -
Либа-Зися Курай! Не веришь? -
Приходи и смотри.
А вообще-то их у меня три...
- Ого, три бабки! А третья откуда?
- А твое какое дело? Может от верблюда...
Смеется, весело галдит детвора,
Каждую минуту - новая игора.
Придумали сложение и вычитание:
Гриша-Миша, Таня-Маня.
Как цветные шары, имена летают.
Дети смеются, складывают, вычитают.
Ничего лучшего не придумано на свете,
Чем звонкий ручей и смеющиеся дети.
Пусть детская радость звенит ручьем,
Но сказать им хочется вот о чем?
Играйте, шалите хоть двести лет,
На этот счет к вам претензий нет,
Но знайте: молодость уважать должна
Эти «странные» старые имена.
Знайте, что люди с этими именами
Мечтали хоть на секунду встердиться с нами,
Недосыпали, недоедали,
Чтоб вы сегодня горя не знали,
Чтоб в играх ваших не было слова «Война»...
Прошу вас, не забывайте старые имена.

Нина Филипкина

Родилась в Николаевске-на-Амуре, но с детства жила и училась в Хабаровске, где окончила иностранный факультет педагогического института. Три года была военным переводчиком английского языка в отдельном полку связи, затем переехала в Биробиджан, работала учителем в средней школе №9, а с 1965 года – на журналистской работе. Начинала литсотрудником в "Биробиджанской звезде". Статьи и очерки печатала в местной прессе, а также краевой газете "ТОЗ", центральных журналах "Семья и школа", "Огонек", "Наука и религия", в коллективных сборниках "На берегу Биры и Биджана".

Журналистка много работала над переводами с идиша на русский (по подстрочнику) произведений

Биробиджанских прозаиков и поэтов – Любы Вассерман, Макса Рianza, Ицки Бронфмана,

Израэл Эмиота. Она – автор цикла очерков "Имя в истории города", которые публикуются в "Биробиджанер штерн". Литературные материалы (стихи, миниатюры, эссе) пишет в минуты отдохновения, считая это «побочной работой».

Нина Николаевна – сотрудник областной газеты "Биробиджанер штерн", член совета литературного клуба при областной научной библиотеке имени Шолом-Алейхема, ведет "Мастерскую" – литературную страницу в "БШ", где пробует силы талантливая молодежь. Авторы "Мастерской" представлены и в этом издании. Среди них – Виктор Антонов, Павел Алексейчук, Олег Фасхутдинов...



Ветвь георгина

Одно движенье ножниц – и упала
С моей листвы прохладная роса...
В хрустальной вазе я грущу устало,
Не веря ни в добро, ни в чудеса.
Совсем недавно у крыльца на даче
Воистину прекрасна я была,
А здесь увяну в одиноком плаче
Средь праздничного убранства стола.
Мои беззвучны и бессильны стоны –
Пришел конец душистому пути.
Не жаль себя – я хороню бутоны,
Которым в хрустале не расцвести...

Франт

Раскрасив кудри, словно ультрамодница,
В контрастные оттенки и цвета,

Орех маньчжурский томно хорохорится
В шуршанье бабьеветного листа.
А лист кружится невесомой птицей
И падает поблизости не зря -
Пусть фронт вздохнет над каждой страницей
Сентябрьского уже календаря.
Отсчетом дней усеяна аллея,
И неслучайно здесь присели мы,
Чтоб помолчать друг с другом, сожалея
О близкой неизбежности зимы.

Дальние голоса

Парк шуршит сухими листьями,
Рвет колючками чулки,
Сладкой ложью, поздней истиной
Дни осенние горьки.
Если ложь - то не забудется,
Если правда - глубже боль...
Месяц сердится и хмурится:
Разбирайся, мол, изволь...
В мае. Ясному случается
Часто маяться без сна,
Ну а тут что получается:
Осень это? Иль... весна?
- Что решила ты, не знаю я?
Впрочем, это не беда.
На земле необитаемой
Побывали мы тогда.
Ветер листьями сыпучими
Утверждал небытие,
Вечер звездами колючими
Падая на сердце мое,
В небесах, как в темном омуте,
Билась месяца блесна...
Разберитесь тут попробуйте -
Осень это иль весна...



Анатолий Кобенков

Как ни бывает, а жизнь моя светла,
Я вспоминаю с грустью поневоле?
Что Родина дала мне это поле,
Что здесь мой дом, а там - моя ветла...



Эти строки принадлежат поэту Анатолию Кобенкову, который родился в Биробиджане в 1947 году. Еще в школьные годы начал печататься на страницах газеты «Биробиджанская звезда». Когда ему исполнилось восемнадцать лет, то Хабаровское книжное издательство выпустило его первый поэтический сборник «Весна». Через два года выходит новая книга стихов - «Улицы» (Иркутское книжное издательство). В 1974 году он принимает участие в работе совещания писателей Сибири и Дальнего Востока, на котором обсуждалась рукопись его третьей книги - «Вечера». Будучи студентом Литературного института им. М.Горького, стал автором четвертой книги стихов - «Два года».

Недавно вышел десятый поэтический сборник Анатолия Кобенкова. Его поэзия отличается свежим, неординарным взглядом на мир. Его стихам чужда внешняя красивость. В них живет добрый человек. И мир его стихов наполнен добрыми, красивыми людьми.

Доверие и добро - такова визитная карточка поэта-земляка. Его стихи - это постоянный поиск, разнообразие тем, широта авторского взгляда. Заметно раздвинулись границы творческого диапазона. Жизненный опыт не только принес новую интонацию в стихах А.Кобенкова, но выработал совершенно иное нравственное и гражданское отношение поэта, утвердил его поэзию.

Многие стихи А.Кобенкова стали текстами песен. За книгу «Я однажды летом на зеленой траве» удостоен премии им. Иосифа Уткина в Иркутске.

Анатолий Кобенков - член Союза писателей России. Мы знаем его и как литературного критика, автора песен к новым драматическим спектаклям, за что стал лауреатом иркутской премии «Молодость. Творчество. Современность.» Живет в Ангарске.

Полотна Шагала

Полотно Шагала - это я
У своей прабабки на побывке;
Это праздник, это у тряпья - латочки,
У обуви - набивки;
Это кашель пьяных половиц,
Это, среди плесени и гнили,
Тихий мальчик Изя Горовиц
Скрипку взял... и слезы тети Цили
На цветах пикейных покрывал...
Это осень; это дождь на крыше...

Это все, что Марикел Шагал
Допоеет, допишет и додышит...
Лоскуты надежд, обрывки сна,
А еще - с кошерною едою -
Улочка, которая ясна,
Как стакан с небесною водою...

Полотно Шагала - это ты -
За руку взяла меня, и значит,
Жизнь моя чего-нибудь да значит,
Ибо рядом - ты и облака.
У тебя хорошая рука -
Легкая, как слово,
А мозоли - как плоды паслена или соли
Крупные кристаллы - холодят.
Если мы оглянемся назад, мы увидим,
Как раскрыла Тору наша жизнь,
Которую к забору привязали, и забор знобит...
Слышишь, как о смерти говорит
(как о жизни) бабушка,
Ты слышишь - яблоки попадали
На крыши, половицы скрипнули в доме?..
Я тебя за плечи обниму,
Потому что мы с тобой оттуда,
Где золой оплакан лапсердак,
Перхотью оплакан лапсердак,
А селедка - ржавью, а чердак - перьями,
Котами и мышами...
Нам они ни в чем не помешали -
Мы с тобой их в небо принесем...

Полотно Шагала - это мы.
Грустные, как люди на вокзале,
Глупые, как страусы, смешные,
Как Шолом-Алейхем... Это мы.
Так мы пели - головы закинув,
Кадыки надувши, вскинув руки,
Закатив глаза, как перед смертью или чудом.
Пели, как могли.
Так мы ели - радуясь селедке,
Хлебу, молоку, на наших грядках,
Сдобренные нашим потом,
Жили и чеснок, и бульба... и любовь.
Так любили - на земле, на небе, иногда -
На перьевой перине, иногда - на облаке:
Как люди и деревья... Так мы и ушли:

В землю или в небо —
На ладонях родственников или на идеях тех,
Что не успели нас понять...

Чего не хватало огромной стране,
Когда она губы тянула ко мне? —
И угля, и стали хватало,
И хлеба — по осени, а по весне —
Уценок на спички и сало.
И горя хватало у этой страны,
Но каждый имел и пиджак, и штаны,
А многие — шляпу в придачу.
И было работы полно для шпаны —
И рынки, и лавки, и дачи.
И рук ей хватало, чтоб землю пахать,
Чтоб фабрики строить и голосовать
За лучших в стране коммунистов.
И было за что ей судить и стрелять
Предателей и уклонистов...
Все было у этой страны: и леса,
И реки, и степи, и бог при усах,
И барды при лесоповалах...
Ей Лемешев пел, ей Фадеев писал,
И только меня не хватало...

Романс

"Поздняя осень, а в том саду листья
Еще до конца не опали..." Помнится мне —
Вы об этом писали
И в позапрошлом, и в прошлом году.
Помнится мне, что и прежде о том,
Как расцветает китайская роза,
Вы мне писали — и вплоть до мороза
Не расставался я с вашим письмом.
Все повторилось: сбежались в слова сад,
Одиночество, главы природы...
Слава те, Господи, долгие годы
Роза цветет и не вянет листва.
Ночью, когда не спит человек
(хороший или плохой),
С ним обязательно рядом снег,
Ветер и домовый.
Ветер бубнит ему: "Повезет",
Снег говорит: "Пройдет",
Один к окну его подведет,
Другой — в постель отведет.
А домовый, который сто лет

Думает думу здесь о том,
 Что счастья земного нет,
 Но домовой — есть, его успокаивает:
 - Прости, но все твои беды — дым.
 Станешь себя хорошо вести —
 быть тебе домовым...

Я спал на бабушкином диване
 До крика отца, до клика скворца.
 Я книжку Блока таскал в кармане
 И эту книжку читал без конца.
 Я был обутым, сытым, одетым
 И жизнь свою понимал, как мог —
 Думал, вырасту, стану поэтом,
 Буду писать о любви, как Блок:
 О юной цыганке, холодной выюге,
 О ресторане, где пьют вино.
 А дни, ходившие друг за другом,
 То выюгу несли под мое окно,
 То уводили меня в рестораны —
 Пили пиво, клевали салат...
 А на вокзале жили цыгане
 С огромным выводком цыганят.
 Там сквозняки вышибали двери,
 Тоска проборматывалась во сне...
 Я верил Блоку, а жизни не верил
 И не намерен был ладить с ней.
 Поэтому мама недосыпала,
 Бранился отец, возмущалась родня.
 И было мне бесконечно мало того,
 Что было вокруг меня....

Если я и люблю этот взгляд, то не так,
 Как столетие назад — бестревожно.
 Мне кажется странным не краснеть,
 Не сидеть истуканом в те мгновенья,
 Как лирой бренчат
 И концертом гремят фортепьянным.
 Если я и ловлю этот взгляд,
 То не так, как столетие назад —
 Независимо и покаянно.

И ты меня переживешь, мой ангел.
 А пока — переживи со мною дождь,
 Дорогу, облака, сирень,

Которая цветет, а завтра отцветет,
Свирель, которая поет, а завтра отпоет,
Смерть, которая придет — и к деду ответит.

Переживи меня, мой друг,
Не покидай, мой друг,

Ни первый луч, ни дальний луг,

Ни предвечерний звук...

Переживи!..

Уже сейчас я говорю "любил" —

Чтоб свет, которому без нас

И белый свет не мил,

Светил тебе и в дальний час,

Как час назад светил.

И снег пошел, и стало тихо,

И я, как в детстве, не стыдись,

Сравнил с пушистою зайчихой

Пушистый день и вспомнил вас —

Тяжелую, в тяжелой шали, в слезах —

И начал хохотать, припомнив,

Как они мешали вас целовать,

И умоляли, и требовали — целовать...

Но еще и облака набегали —

Ты забыла, — дачу с вечера знобило,

Слышно было, как река в нашу рощу заходила,

Как в отчаянье блудила рыба в чаще ивняка...

Это из черновика, из эскиза мирового

проступила бестолково жизни вечная основа...

Но в начале было слово — ты забыла — облака...



Федор Архипов

Родился в 1922 г. в селе Княжан-Губа Мурманской области. Учился в сельской школе, работал рыбаком, матросом на буксирном пароходе. Участник Великой Отечественной войны. Демобилизовался в 1961 году в звании майора. Закончил заочно учительский, а позднее - педагогический институт. Трудился журналистом. Печатался на страницах газеты «Биробиджанская звезда», в журналах «Дальний Восток», «Смена», «Сибирские огни», «Сквозняк», в коллективных сборниках «Волна за волной», «Разбег», в альманахе «Советское Приморье», а также в центральных и дальневосточных газетах.

Федор Петрович - автор поэтических сборников «Мосты», «Признание», «Бусинки на проводах».

В стихах Федора Архипова военных лет удивительно естественно сливаются голоса лирического героя и самого автора, наполненные живой конкретностью фронтовой жизни с ее трудностями, радостями, смертями и победами. Это особо просматривается в поэме «Жизнь», посвященной памяти земляку, Герою Советского Союза Бумагину И.Р.



Мосты

Здесь рухнул в воду старый мост,
А вскоре новый был сработан.
Поднялся он во весь свой рост,
Окрашен солнца позолотой.
Его опоры, как колонны,
На совесть, ладно сделан мост,
Поджарый, железобетонный,
Тугонатянутый, как трос.
А по настилу, по настилу бежит,
Шурша, за скатом скат,
Как провода, поют перила,
И звонко вторит им река.
Шумит Бира, несется к устью...
Она, как дождь, легка, чиста.
А я смотрю с хорошей грустью
На свай старого моста.
Сопrotивляясь ледоходу,
Под гулкой тяжестью трубы,
Он, как боец, служил народу
И пал, не пожалев себя.

Жизнь

Памяти дальневосточника,
Героя Советского Союза И.Р.Бумагина

Зуммерит, зуммерит
В полковом блиндаже телефон.
Захлебнулась атака,
Обрушилась неудача...
И как будто гора
Навалилась на сердце...
Встревожился фронт.
Свет кровавой ракеты
Над цепью свой след обозначил.
Придавила внезапно к земле
Пехотинцев война.
Встал парторг... и, как срезанный,
Рухнул, взмахнувши наганом.
Каждый чуял душой,
Что такая вокруг тишина:
Руку вверх поднимаешь,
Привстанешь — сметет ураганом.
Все как будто грозило:
Третила угарная мгла
И промозглая сырость
Расстрелянной утренней рани.
Жизнь такой дорогой, может быть,
Никогда не была, как сейчас вот —
На самой ее потрясающей грани.
Стало зримо до боли: лозинка.
Трава. Кирпичи. Все земное любимо
Всею силой души человеческой.
И не взять, не найти
От желанной победы ключи
Без того, чтоб не встать,
Не расправить пред сталью
Солдатские плечи.
Кто хоть раз отрывался
Под пулями от земли,
Тот навеки запомнил
Безмерную тяжесть момента,
Тот вернее поймет,
Что за мысли и силы
Влекли человека туда же,
Куда разряжалась, змеясь,
Пулеметная лента.
Тут не слышно фразеров,
Любители поэзы — в тени.
Здесь огонь — ОТК —
Проверяет душевные свойства.

Если совесть гудит, встань, боец,
И на пламя метнись...
Не тщеславие — жизнь на земле
От тебя ожидает героизма.

Палящую глотку дота
Закрыв он сердцем горячим,
И встала, пошла пехота
С уверенностью в удаче.
Ударил на Бреслау
Цепями взметенных рот,
Нетленную множа славу,
И жизнь унося вперед.
Уходят сраженья звуки
За дальние рубежи...
А парень, раскинув руки,
На взрытом бугре лежит.
Он будто бы сбнял землю,
Которой принес весну,
И шепоту травки внемлет,
И смотрит в голубизну
Апрельской лучистой выси...
Крутой обнаженный лоб
Напрягся в работе мысли,
В морщинках — землинок дробь.
Не думая о бессмертье,
Красивый и волевой,
Он в огненной круговерти
Давно ли шагал живой?
Вставай, подымись, Иосиф!
Победа близка совсем...
Себя ты на пули бросил,
Не посчитался ни с чем.
А я не простился с тобою,
Твоей руки не пожав,
Пошел через пекло боя
До нового рубежа.
Пошел, потому что надо.
Что ты нас повел, мой друг,
А лютая канонада
Клубилась еще вокруг.
А где-то, еще не зная,
Что твой оборвался путь,
Выводит в письме родная:
— Мой муж, осторожен будь!
Ведет торопливо строчки
Простой телеграф сердец:

— Тебя вспоминают дочки,
— Вернись поскорей, отец!

На могилу героя полячки приносят цветы,
Под стеклом похоронная
В рамочке желтой, как осень...
Но ведь с нами живешь ты
И в явь воплощаешь мечты
Это правда!
Нет, я не ошибся, Иосиф!
О тебе написали немало статей и поэм.
Только я берегу, словно книжки
Свои наградные, фронтовую газету...
Она пожелтела совсем,
Но простые слова о тебе
Будоражат поныне.
Ты мне дорог и близок,
Как самый родной.
Я горжусь твоей верностью нашей Присяге...
Слышишь, песни о мире
Девчата поют над рекой?
Эту песню твой подвиг принес им,
Товарищ Бумагин.
Вот солдат молодой —
С ним как будто бы слит автомат,
Я люблю его строгость и твердость
В движениях и взгляде.
Тишина. Жерла труб заводских
Облаками дымят. И мне кажется:
С воином юным стоят ветераны в наряде.

И жизнь прорастает колосом,
Цветет на ветвях акаций,
Гремит электрическим молотом
И слышится в звуках раций.
В замшелых хребтах Хингана
Руду дорогую роет,
Могучие хоботы кранов
Взметнула она над Бирою.
И, газа швыряя космы,
К созвездьям ведет фарватер.
Она покоряет космос,
Вонзается в лунный кратер.
Она, эта жизнь, в пустыне
Возводит дома и школы,
Она Бумагина именем

Совет молодой поселок,
И пионеров дружины,
И коллективы почета...
Она создает машины в том цехе,
Где ты работал.
И помня чертёж — программу,
Она за станок твой бывший
Встает пареньком упрямым
И сталью поэму пишет.

На Бире, у речной излучины
Чья-то лодка плывет под звездами,
И скрипят, и скрипят уключины,
И гармошка поет без роздыха.
В синем сумраке весла плещутся,
За кормою — воды борозда.
Он, как веточки больно хлещутся,
И надсадно гудят провода!
Я шагаю пустынным берегом,
Вслед за лодкою уплывающей.
В ней ведь — боль моя,
Очень бережно я ее обнимал вчера еще.
А гармошка поет без роздыха,
И скрипят, и скрипят уключины,
И плывет, и плывет под звездами
Чья-то лодка в глухой излучине.

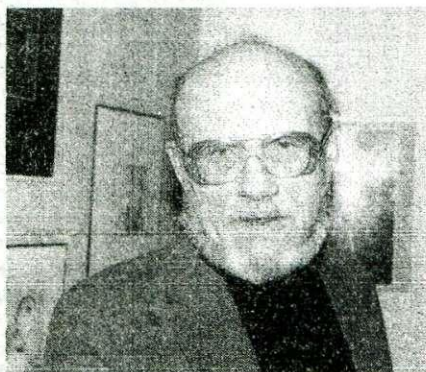
На берегу Биры

Волны голубое свечение...
Гармоники дивный рассказ...
Мне видится в светлом течении
Сияние радостных глаз.
Заря зажигается ярко,
Ромашками пахнет трава.
В аллеях под кронами парка
Звучат задумчиво слова.
В каких бы просторах я ни был,
Но в сердце навек сберегу:
С высокими кранами небо,
Огни на речном берегу,
Резные скамейки у кленов,
Где после рабочего дня
Встречаются пары влюбленных,
Где ты ожидаешь меня.

Виктор Соломатов

Родился в Хабаровске в 1937 году. Первое стихотворение опубликовал в 1955 г. в газете «Молодой дальневосточник». В ту пору эта редакция была прибежищем молодой литературной поросли Хабаровска. Думается, достаточно сегодня назвать имена Риммы Казаковой, Павла Халова, Михаила Асламова, Людмилы Миланич, Арсения Семенова, Валерия Шульжика, чтобы понять, насколько велик был потенциал тогдашних литературных кружковцев.

После учебы в Хабаровском ГПИ и службы в армии Виктор Соломатов



был принят на работу в редакцию газеты «Суворовский натиск». Везение и тут сопутствовало ему. В то время в редакции работали журналисты, прошедшие фронтовыми дорогами от Сталинграда до Берлина, - Николай Занин, Леонид Шапа, Юрий Яхнин.

В то время «Суворовский натиск» был самой «литературной» газетой края, в его редакции работали четверо членов Союза писателей СССР - Сергей Тельканов, Анатолий Рыбочкин, Александр Дракохруст, Иван Черных. Частыми гостями в редакции были писатели Анатолий Вахов, Степан Смоляков, Николай Рогаль, Петр Проскурин, Александр Грачев. Можно понять, что в таком окружении дарование молодых сотрудников газеты Рояльда Добровенского, Виктора Соломатова и других развивалось весьма активно.

В 1965 году, уже будучи жителем Биробиджана, Виктор стал участником Читинского семинара молодых писателей Восточной Сибири и Дальнего Востока. Общение с такими мастерами российской литературы, как Марк Соболев, Сергей Наровчатов, Леонид Соболев, Анатолий Преловский, с товарищами по творческим семинарам Сашей Вампиловым, Распутиным, Романом Солнцевым и другими, составляющими ныне гордость отечественной литературы, оказало заметное влияние на творчество Виктора Соломатова.

По рекомендации Читинского семинара в 1996 году в Хабаровске была издана первая книга стихов Виктора «Росинка».

В предложенную читателям этого сборника подборку автор включил стихи, давшие название четырем его книгам, и стихотворения, в разное время посвященные дорогим ему людям.

Виктор Соломатов много занимается переводами. Большинство стихотворений Эм. Казакевича, И. Бронфмана, Л. Вассермана, Г. Шведика, А. Гофштейна, Г. Койфмана, С. Вехтера, М. Рианта пришли к русскоязычному читателю в его переводах.

Стихи В. Соломатова публиковались в журналах «Юность», «Смена», «Знамя», «Прапор», «Советский воин», «Дальний Восток», в альманахах, коллективных сборниках. Виктор - член Союза писателей России с 1995 года.

Его стихи переведены на идиш, украинский, армянский, французский и другие языки.

И мать,

Пять лет. Неграмотен и болен —
 Ни почитать, ни поиграть.
 Былинкой тонкой в чистом поле
 Склонилась к изголовью мать.
 А за окном — ночная сажа
 И непонятный непокой.
 И я ладошку мамы глажу
 Своей горячею рукой.
 В трубе надсадно плачет ветер,
 Непотопленная печь темна.
 Который год на белом свете
 Идет проклятая война.
 И тошен чай от сахарина,
 И дождь вторые сутки льет...
 "Бежал бродяга с Сахалина",
 — тихонько мама мне поет.
 Листва округу засыпает;
 "Далек, далек бродяги путь"...
 Я вижу — мама засыпает,
 Роняет голову на грудь.
 И я, от нежности немея,
 Терплю — не кашляю, хриплю.
 Хочу сказать, да не умею,
 Как я ее... Как я люблю...

И сестра,

— Сестра! — зовет солдатик раненый,
 Уж больно жалостно зовет!...
 А за окошком утро раннее,
 И май сиреневый цветет.
 И тишина. Не рвутся мины,
 Не воем в воздухе фугас.
 А тот последний был не мимо,
 И свет в очах его погас...
 — Сестричка, — он зовет. —
 Сестренка! Как наступление идет?
 Сестричка всхлипывает тонко,
 Воды солдату подает.
 И все подушку поправляет
 Движеньем ласковым она,
 И что-то ей сказать мешает
 Ему, что кончилась война.

Жена...

Волховала кукушка в заповедном лесу.
 Куковала тоскливо, распевно, надрывно.
 Вновь мне мнится: тебя на руках я несу

По тропинке лесной, молодой и наивный.
И так сладко, так вязко парит дурнопыян,
Так зазывно хохочет ручей на опушке.
Все цветы, всю малину окрестных полей,
Годы жизни совместной сулит нам кукушка.
Как не верить распахнутым настежь глазам,
Если в них пролилось, опрокинувшись, небо.
Ни полслова тогда о любви не сказал,
Но уж больше так счастлив не буду...
И не был.

Встреча

Опять метет в Михайловском, метет,
Он третий день уже не спит, не ест.
Коптит свеча.
Боль жестко сердце жмет.
Он одинок тут. Он один, как перст.
Весь белый свет - седая пелена.
Метет, метет который день подряд.
Он зябнет у замерзшего окна,
И нянины наливки не бодрят.
Все замело - поля речные плесы.
Но, чу! - дверноебрякнуло кольцо,
И выбегает он, простоволосый,
Босой, в одной сорочке, на крыльцо.
Утихнул колокольчик однозвучный,
Белесый пар валит от лошадей.
В дохе медвежьей, неуклюже-тучный
Приезжий вылезает из саней.
И, распираем радостью грядущей,
Он птахой сердце запускает ввысь...
«Мы обнялись, - напишет позже Пушкин,-
По-дружески, по-братски обнялись!»
А у Пушкина душа больным-больна,
Перья брызжут, расплываются чернила,
Но была ведь женщина одна,
Что не проклинала, не чернила,
Обязательно. Глаза - весенний лед,
Обогретый талыми ручьями.
А уж бровью, бровью поведет - радость к сердцу,
Будто гость нечаянный.
Он ей и стихов не посвящал -
Сроду им стихов не посвящают.
От молвы людской не защищал -
От молвы таких не защищают.
Но когда терпению предел
И враги бесплотны, будто тени,
Он хотел, я знаю, как хотел

Уронить ей голову в колени
и заплакать горько. Но не мог
Он покой души ее тревожить.
Если бы хранил Позта Бог,
Мы о ней узнали бы, быть может.

Давно уж слышать
Тошно мне и скучно,
Как мы порой,
Витийствуя, галдим
О том, что, мол,
У каждого - свой Пушкин,
А он и у России-то Один!

РОСИНКА

Росинка, необъятна, как Россия,
Как Русь моя, прозрачна и чиста.
Легли лучи рассветные, косые
На все объекты третьего поста.
А по ветру закат швыряет пламя,
И клены алым заревом горят,
И чутко спят ракеты под чехлами,
В готовности ракетчики стоят.
Чтоб отразились с небывалой силой
И синь небес, и зыбкий травостой
В росинке необъятной, как Россия,
И, как Россия, светлой и простой.

КОЧЕВЬЕ

Завершалось кочевье
Таежным пожаром, корчевьем,
Горьким потом, слезьми, что роняли
В межу мужики.
Именуемыми смердами,
Быдлом,
Холопами, чернью.
Поднимались всем миром,
Потуже стянув кушаки.
Им с лихвой отпустила
Судьбина и мора, и глада,
На капустных кочевьях
Взрастали, с картохи сильны.
И телегу в кочевье
Мужик основательно ладил,
Коли худо на Волге —

За волгою дали ясны...
Страсть к кочевью
Всю жизнь меня мучит и гложет,
Я и строил, и сеял,
Но манит дорога — привык
Может, это судьба,
Что ж, бывает такое...
А может, заразил этой страстью
Мой предок, российский мужик.
Кочевое житье мне давно
По нутру и по нраву.
Я полями иду, над землей голубою лечу,
Из криниц ключевых кочевую глотаю отраву
И в природе чудес
До конца разобраться хочу.

ОТЕЧЕСТВО

Отчизна, отечество, отчество —
Любовь моя неистребимая.
Кукушечьи в рощах пророчества,
Над степью круги ястребиные...
Живет во мне запах пшеницы,
Кедровника крепкий настой,
И поклики вспугнутой птицы,
И голос жалейки простой...
И сладко сжимается сердце
От светлой, щемящей любви
К земле, где прошло мое детство
И юные годы мои.
Взрослели мы трудно и рано,
И, думаю, я, неспроста
Нет в нашей породе Иванов
Из тех, что не помнят родства.
А я вспоминать не устану —
Доколе пребуду я тут —
Отца, что назвали Иваном,
И мать, что Надеждой зовут.
1985г.

Складень

Вся жизнь поэтов — знобкий неуют,
Ее у них до срока отбирают.
Их то наемной пулей убивают,
А то при жизни жизни не дают.
Вот стихотворцы, те имеют дом,
Где сладко естся. Еще слаще — спится.
Одна у них заботушка — не спиться б,

Не захлебнуться марочным вином.
Их широко при жизни издают,
Выходят их собрания сочинений,
В которых бойких строчек сочененья
Они за глас народа выдают.
Угодничая, подличая, лстя,
Преуспевает шустренькое племя,
Проходят времена —
Приходит время,
Все расставляя по своим местам.

...

Черный рынок —
Всех книжных издательств дары.
Только цены к альпийским вершинам восходят:
Осип — "стольник",
Марина — полсотни,
Борис — полторы,
И совсем раздевают
За "Нерв" обнаженный Володи...
А они эти строки
В сомнениях и муках рожали,
Продираясь к сердцам
Сквозь безверья,
Безвременья мрак.
Так издай же, Отчизна,
Миллионными их тиражами,
Чтоб не мог наживаться
На гениях наших маклак.

...

Несыгранная роль, куплет неспетый
И рукопись, лежащая в столе...
Да есть за то хоть кто-нибудь в ответе
На многогранной матушке земле?
Не годы культа. Не пора застоя.
Не черных "пташек" проклятуший век.
Не пароксизм чиновничьего строя,
А кто-нибудь конкретно? Имярек?
Гляжу и вижу,
Что, как прежде, князи на с поучают
С должностных вершин.
Все те, кого страшил шукшинский Разин
И Пугачев Высоцкого страшил...
1992 г.

Ольга Ермолаева

Поселок Бира Облученского района. Здесь прошли школьные годы Ольги Ермолаевой. Окончив девять классов, с родителями переехала в п.Смидович, где получила аттестат зрелости. Уже к этому времени ее стихи появлялись на страницах краевых, областных газет и радио. День ото дня наполнялся ее поэтический голос. Она стала литературным сотрудником газеты «Биробиджанская звезда». Поэт Михаил Асламов (он тоже родился в п.Бира), говоря о своей землячке, подметил: «Она поэт по характеру мировоззрения, по своей душевной сути. Читая ее стихи, будтоходишь в осенний березняк: и тишина, и слышно падение листьев, и светло вокруг, и на душе».

Первая книга ее стихов «Подмастерье» была издана в Хабаровске, в 1965г. Затем различные московские издательства выпускают одну за другой поэтические книги нашей землячки.

Много воды утекло из Биры с тех пор, как напечатала Оля свои первые стихи в газете «Биробиджанская звезда». Креп и возмужал ее талант. Она член Союза писателей России, заведующая отделом поэзии столичного журнала «Знамя». Но по-прежнему верна она родной земле, не порывает с ней связи.

Во всех поэтических сборниках Ольги Ермолаевой мы встречаем стихи о тревогах и радостях нашей молодой современности, о красоте человеческих чувств, о любви и преданности земле русской.



Воспоминание о станции Бира

Который год блуждаю в той земле,
Где шиферные крыши остывают,
Где уж с трудом в иголку нить вдевают
И зябнут даже в лето на дворе.
Я по железным проношусь мостам
В поселок на ветрах и на оврагах,
И тихо плачу, как вода в корягах,
И кланяюсь протокам и звездам.
Вот магазин сельпо и детский дом
На площади, где братская могила...
О, это здесь я босиком ходила
И рисовала на земле гвоздем.
А к станции сходилась иван-чай,
Печенье "хворост" стряпали в буфете,
Я мыслила прославить отчий край
Стихом и прозой в областной газете.
Уже кого любила - позабыла,

А твердо помню крышу и забор,
И тротуар, и в самом центре мира
Пчелосовхоз, лесхоз да конный двор...
Встань, старая, прелестная моя,
За шторками на рыболовных лесках.
Зачем я сквозь ресницы на тебя
Смотрю, слоено сквозь мокрый перелесок?
Вон и картофель во поле цветет,
И радио поет, и день воскресный,
А в небесах—заиндевелый крестик—
Летит и улетает самолет.

Хватит умствовать, Хватит
угрюмствовать, спи,
Печь закрыв и накинув крючок...
Лучше волосы завтра свои подруби,
Чтобы вышел пушистый кружок.
Ты и так все молчком, ты и так все молчком,
Так что более сердцу невмочь!
Видишь, грузным девичьим проходит шажком
Твоя милая, милая дочь,
Ты и так уж себя пригнала.
Так валун бочку яблок в подполье ужал...
Ненадевана, никнет крыло на полу —
В Туркестане дареная шаль.
Жизнь пройдет своим грозным
Неспешным шажком,
В чем и будет, бесспорно, права.
Видишь, в печке, беленной зубным
порошком, Золотые сгорели дрова.
Ты ответчица, что ли, какая за всех,
Растворяющих праздно свой рот?
И постыл смехотворный печатный успех,
И так страшно, что скажет народ.

Нет, я не хотела бы смиренно сидеть,
Тем более — быть в учениках...
Я с детства горазда на солнце смотреть
Сквозь искры цветные в ресницах.
Зеленое небо люблю, и полынь,
И знаки "Нельзя!" и "Опасно!",
И лес, и глаза всех зверей и зверинь,
И дух рисовального масла,
Колючую, шумную, дикую кровь,
Купе, чердаки и каюты,
И облачный низкий лоскутный покров,

Под коим душе так уютно.
И елку, и праздник Победы, и дни
Рожденья, и детское пенье,
И тех, кто не стоит любви, и огни,
И водных столбов преломленье...
Я знаю: добывшая столько чудес,
В пучину душа моя канет,
Как будто, пустясь в атлантический рейс,
На айсберг наткнется "Титаник".
Но воздух, но воздух, пропахший навек
Опилками, дымом и садом,
Да здравствует, здравствует,
Здравствует снег,
Где доченькин след отпечатан!

Я трачу жизнь последнюю мою,
А там, как дети, за руки взялся
В провинции, как будто бы в раю,
Анастасия, Анна и Анфиса.
Глядишь — и старость будет тут как тут,
Болезни ходят по земле покато...
О милые, все ждут они и ждут,
Что стану я счастливой и богатой.
Я вижу сквозь чудовищную землю,
Как дома, у сиротского огня
Одна читает, а другая дремлет,
А третья все гадает про меня.
Про то, что жизнь моя, как полынья,
Про то, что на исходе мои силы...
Простите, если можете, меня!
Давно простили. Уж давно простили.

модерн

Мне страшно, что вольная стая
Подхватит меня на бегу,
И девочку не воспитаю,
И маму позвать не смогу.
Утратится связность и целость,
Крыла опадут за спиной,
И в легких одна драгоценность
Останется — воздух земной.
И в сфере небесной пространной
Во все остальные века
Бесформенной и безымянной
Я буду, как все облака.
Мне страшно, что в мире жестоком,
Все вынеся, все претерпя,
Я вдруг пропаду ненароком
И не нагляжусь на тебя.

Ирина Шолохова

Родилась в Приморском крае, но в шестилетнем возрасте вместе с родителями переехала в Курскую область, где прошли детство, юность... Там начала писать, а первое стихотворение напечатали в молодежной газете «Молодая гвардия». Потом увлеклась журналистикой, а стихи писала больше для себя, для души. Все студенческие годы, проведенные в Курске, участвовала в работе областного литературного объединения, а в 1970 году в коллективном сборнике молодых курских поэтов вышли и три ее стихотворения.

В 1973 году Ирина уехала на малую родину, в Приморье. Там публиковалась в газете «Тихоокеанский комсомолец», «Красное знамя», в одном из коллективных сборников.

Вот уж 17 лет живет в Биробиджане, закончила факультет журналистики ДВГУ, работает все эти годы в областной газете «Биробиджанская звезда». А стихи все так же пишет для души.



Муза

Она подаяние просит, как нищая,
Бредет, спотыкаясь, все ищет хозяина.
В холщовом, засаленном синем рубище,
Кляня всех тех, что так гордо назвали.
Поди-ка, попробуй сквозь стены пробейся.
В глазницы посмотрят насмешливым взглядом
И скажут: «Сиди у порога и грейся»,
И скажут: «Работать, родимая, надо!».
Насмешливо косит - она косоглазая -
Единственным глазом на них, бородатых.
Над нею смеются не зло, но по-разному,
И мажут полотна аляповато,
Читают стихи и рубают котлеты,
С порога ей хлебные корки бросают...
Она подбирает. Не знает, что где-то
Ей молятся, где-то ее ожидают.

Серой соли не хватает хлебу,
Летний дождь - слезами по стеклу...

Я по теплым лужам, как по небу,
На судьбу на бабью набреду.
Все пройдет. Ломоть, посыпав солью,
Разломлю я с кем-то пополам.
Не страдать же вечно первой болью
И не вечно теплым лить дождям.
Будет осень с выгоревшим небом,
Будет солнце. Только впопыхах
Промелькнет вдруг прошлогодним снегом
Белый кот в волшебных сапогах.
Ты в котов давно уже не веришь...
Я его за лапу приведу,
Только вот откроешь ли ты двери
Озорному детству своему.

Осинки-подростки, подростки-березки,
Ведут хоровод на лесном перекрестке,
И лиственниц стайка взлетает крылато,
И каждая лапой кивает мохнатой.
И радости зов над гранитом суровым
Я слышу, спеша перелеском кедровым.
Подножия сопок залиты брусникой —
Ну кто называл красоту эту дикой?

Дом

В печальный дом случилось мне попасть:
Чернела дверь - обугленная пасть,
А по стенам - ни тени, ни луча.
Дом пустовал. Он тяжело молчал.
И оседала в темноте угла
Его души холодная зола.
Казалось мне средь этой пустоты,
Что точно так же догораешь ты.

Ветка

Она была оледенелой
И от мороза очень ломкою.
Казалась мне она несмелою,
Озябшей маленькой девчонкою.
А нынче, словно нарисована
На синем фоне неба здешнего,
Она такую стала новою,
Неузнаваемой, нездешнею.
Так по весне все переменчиво:
Вот нарядилась ветка тонкая,

И я кажусь себе не женщиной,
А босоногою девчонкою.

Дождь в городе

В белой мантии город,
Дождик льет за стеклом,
Видно, лето не скоро
Нас согреет теплом.
На асфальте ручьями
Прячет дождь чей-то след
И своими руками
Охраняет от бед.
И не скучно, а грустно,
И не спрятать лица.
А слезам и дождикам
Словно нету конца...
Вот уж это ненастье!
Солнце скрылось - не жди.
Только, может, на счастье
День и ночь льют дожди.

Молодым

Не возводили вы большие города,
Не звали вас на стройки пятилетки.
Иные выпали на вас года —
Скупые на хорошие отметки.
Вам нынче тяжелее во сто крат...
Судьбу найти и жизнь свою устроить,
Но молодость не требует наград,
А за ошибки не ругает строго.
И снова - лето, снова — выпускной:
Дипломы, аттестаты, пожеланья...
И до утра гулянье под луной,
И вечные, как мир, в любви признанья.



Владимир Русаков

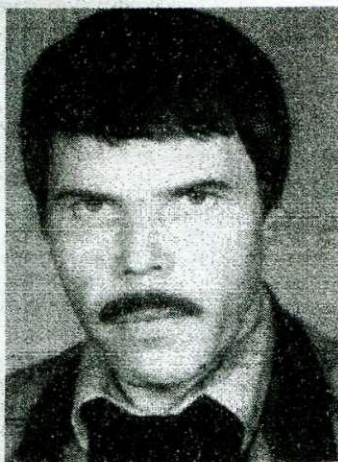
Родился 19 августа 1946 года на станции Плакуны Котельничского района Кировской области в семье военнослужащего. После окончания средней школы поступил вне конкурса на второй курс Горьковского художественного училища. Закончив его, некоторое время работал художником в Союзкинопрокате, затем - в райкоме комсомола, в леспромхозе, в сплавной конторе.

С 1970 года - профессиональный журналист. Жил и работал в газетах и на радио в Заволжье, на Крайнем Севере, на Чукотке, в Магадане, в Облучье ЕАО, в Амурской области.

Первые стихи опубликовал в газете «Пионерская правда», в журнале «Пионер», в районных и областных газетах. Активно начал писать и печататься с шестнадцати лет. Первая крупная публикация состоялась в журнале «Молодая гвардия». С тех пор стихи и проза печатались во многих региональных, республиканских и центральных журналах, в альманахах и газетах. Участвовал в шести коллективных сборниках, изданных в Москве, Нижнем Новгороде, Магадане, Хабаровске. Автор повестей «Безысходность», «Сыскарь», «Один шаг в бессмертье», «Пароль: «Афган», сборников стихов и прозы.

Владимир Николаевич печатался и за рубежом: в Болгарии, Германии, Польше, Чехословакии и Канаде. Он принимал участие на пятом Всесоюзном совещании молодых писателей. В 1984 году стал дипломатом литературного конкурса им. Н. Островского. В 1988 году принят в Союз писателей СССР.

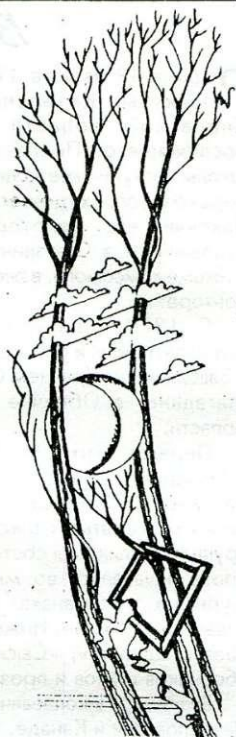
В настоящее время Владимир Русаков - член Союза независимых писателей России, лауреат премии этого Союза за 1995 год. В 1996 году принят в Международную ассоциацию писателей-демократов. Проживает в г. Облучье ЕАО.



Художник

Жил художник, счастлив не был,
Все о чем-то горевал
И всегда на синем небе
Птиц веселых рисовал.
И когда мели метели
Вдоль застуженной земли,
У него и птицы пели,
И черемухи цвели...
В тесной комнатке барака,
Как в раю, он вдруг почил...
Хоть бы кто-нибудь заплакал
Или просто загрустил!

Каждой птице родня,
 Все равно я на свете не вечен,
 Потому и спешу отдавать,
 А не брать про запас,
 И летаю во сне,
 Хоть и время взвалило на плечи
 Непомерное бремя любви
 И тревоги за вас.
 Наступила пора пожинать,
 Перешагивать через
 Стародавние распри,
 Обиды, печали и зло.
 Не чужие мы, люди,
 Не чужие по жизни и вере
 Да по вечной надежде,
 От коей тепло и светло.
 Замирает душа -
 На помин зажигаются свечи...
 И маячит рассвет
 Небывалого, ясного дня.
 Дорогие мои!
 Я окликну вас по-человечьи
 Из далекого завтра -
 Вы только услышите меня!



После спектакля

Игра в чужую жизнь завершена,
 Со сцены убирают декорации.
 Актер, похожий внешне на Горацио,
 Расслабился от крепкого вина.
 В запале он и снова не спешит
 Ловить такси. Он жаром так и пышет.
 Но, как всегда, и слышат и не слышат
 Чуть хрипловатый крик его души.
 Он говорит: «Во мне убиты страсть
 И все, чему теперь уже не сбыться.
 Ах, жизнь моя! Такая это мразь,
 Такая грязь - вовеки не отмыться!..»
 Я здесь умру! - кричит. - Подите прочь!
 Проклятье всем, кто за глаза поносит!
 Каков успех, друзья! Какая ночь!..
 Друзья мои, я дрянь и рогагоносец...
 Он мечется, свечу в руке зажав.
 Воск со свечи оплавленной стекает.
 Он вечный трагик. Он во многом прав.
 А чем помочь ему - никто не знает.

Жестокий романс

Какой тревожный свет
Над нами проплывает!
Опять взошла она -
Прощальная звезда...
Ах, суета сует!
Еще никто не знает,
Где счастье ждет кого,
Где стережет беда.
Я статуей стою,
Вокруг чужие лица.
И даже ты, прости, далеко не родня.
Мне выпал дальний путь,
Пора и нам проститься.
Все может повториться,
Но только без меня.
В душе моей пустырь -
Ни радости, ни муки.
Гляди в нее, гляди,
На цыпочки вставай...
Благословляю я И встречи, и разлуку,
И все, что в нас живет
От «здравствуй» и «прощай».
Прощальную звезду, Хоть лопни, не задуеть,
И свет ее вовек Рукой не развести,
И нет глупее слов,
Которых не забудешь:
«Счастливо оставаться!» -
«Счастливого пути!»

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС

Мы, связанные нитями дорог,
Бредем одни на белом свете этом.
Куда нас заведет печальный рок,
Не знают ни пророки, ни поэты.
Мы с рубищ не отряхиваем пыль,
Не расстаемся с нищенской котомкой.
Какая правда и какая боль
О нас дойдет до умишков-потомков?
Неужто скажут, что страдали зря,
Что хватит - почудили и довольно,
Что, сталинские прокляв лагеря,
Мы все равно, как зеки, подневольны.
Нам лишний рот - накладная обуза.
Застрельщики, мы все согнулись в рог.
Хрущевская зачала кукуруза -
Не выполнила свой партийный долг.
Пик коммунизма где-то далеко,

Нас поманив, пропал, как сновиденье,
Как жалкая утеха дураков
Из брежневского чуда - «возрождения».
Так что нам светит? Где она, звезда,
Питавшая идеями убогих,
Расстрелянных, забытых без суда
И всех поправших Родину и Бога?
Нам прошлое оттягивает плечи,
Но вновь - на старте, загнанно дыша,
Покаемся! И пусть не станет легче,
Но все-таки очистится душа...

АФГАНКА

Неподкупней, недоступней жрицы,
Выжатая в злых очередях,
Медсестра - «афганка» серой птицей
Бьется в этой жизни, как в сетях.
Никаких романсов и ни арий -
Хамское и грязное житье,
Где открыто кухонные твари
Сплетничают жадно про нее.
Будто, мол, в постелях воевала -
Пули просвистели у виска,
Всех жалела, всех подряд ласкала
От солдата и до комполка...
А когда ей, глупенькой, не спится
И пугают шорохи в ночи,
Вновь сосед, настырный гад, стучится
И за дверью матерно рычит.
Что ж, терпи безмолвно, стойко, свято
И прости их, сволочей, прости:
Не придут убитые ребята,
Чтоб тебя от пошлости спасти!...



Валерий Фоменко

Родом с Алтая. Из династии учителей-словесников. По образованию тоже и педагог, и филолог. В 1973 году он окончил Хабаровский государственный педагогический институт (филологический факультет).

Со школьных лет Валерий печатался в районных газетах «Боевой клич», «Колхозник Алтая». Первое свое стихотворение опубликовал в газете «Суворовский натиск». Правда, потом так и не стал. Зато с 1969 года связал свою судьбу с журналистикой. Начинать в газете «Биробиджанская звезда». Позже работал на областном и Хабаровском краевом радио. Печатался в «Тихоокеанской звезде», «Молодом дальневосточнике», «Приамурских вестях», «Ди Вохе», «Улице Ш-А», в нескольких коллективных сборниках.

Валерий Петрович - автор десятков лирических и юмористических миниатюр и коротких рассказов. Ныне - заместитель редактора областной газеты «Биробиджанер штерн» и редактор многотиражки «Община».

Короткие зарисовки и сочинение афоризмов считает не более чем увлечением на досуге.



*Чтоб зазря не тратить рифмы,
Нагружаем смыслом их мы.*

Для мудрецов и для профанов
От века правило одно:
Количеству твоих изъянов
Число проблем твоих равно.

Невезучему знать бы надо,
Что не в дате значенье дня,
Не в лозе — красота винограда
И не в масти — цена коня.



От самих от себя не уйти нам никак.
И признаем без гнева в грусти:
Хорошо ведь не там, где нас нету пока,
А лишь там, куда нас и не пустят.

Всюду свет и тень двойного знака -
Так уж в этом мире суждено:
Ничего хорошего без "но",
Ничего плохого без "однако".

Порой в России конвоиров

Легко принять за командиров:
Меж "возглавлять" и "погонять"
Нам трудно разницу понять.

Кто хочет грядущее знать наперед,
Тот должен бы видеть, за кем он идёт.

Так оно в России от начала:
Нет победы, если тяжкой нет беды...
Мы, пловцы, каких и в целом свете мало,
Только пусть сперва в бассейн нальют воды.

Неточенный меч предаст солдата.
Полководца — необученная рать.
Не умея полководцев выбирать,
Предаст державу император.

На вопрос "Кто всех сильнее на свете?"
Только время правильно ответит:
Тигры в Красной книге "обитают"
А вот комары, гляди, летают...



Нет для народа страшнее напасти,
Чем бесталанный мечтатель у власти.

Там — кризис, тут — развал и спад,
А резюме всегда одно и то же:
У нас никто ни в чём не виноват,
Поскольку ничего никто не может.

Очень много в жизни сделать сможешь,
Если знаешь (даже без ГАИ),
Что из ста дорог, путей и стёжек
Девяносто девять — не твои.

Смотришь ты вокруг ли, вверх ли, вниз ли,
Но всегда к одной приходишь мысли:
Нам не надо новых истин открывать,
Дай-то Бог давно известные понять.

Кстати рот закрыть совсем не худо,
Ведь известно и причём — давно:
Только в плотно запечатанных сосудах
Лучшее содержится вино.

Ты не изведаеть горьких потерь,
В любом поединке не сдашь,

Помня, что есть только ЗДЕСЬ и ТЕПЕРЬ,
А все остальное — блажь.

И власть, и вершина высокой скалы
В одном абсолютно схожи:
Их достигают не только орлы,
Но и рептилии — тоже.

Жизнь восполняет любые утраты,
Да и замену нетрудно найти:
В царстве немых и заика — оратор,
Там, где нет тигра и волки в чести.

Что есть надежда?
Просто сон:
Чем слаще спишь,
Тем крепче он.

В нас же самих — и свобода, и плен.
Это понять несложно:
Коль не посмеешь подняться с колен,
Уйти далеко невозможно.

У всего — два полюса, два края...
Так и у людей (куда ж деваться?):
Очень скоро яркие сгорают
И подолгу тусклые дымятся.

Ты хочешь, чтоб везло тебе?
Доверься лошади-судьбе.

Проблем у нас в России — тьма:
Гораздо больше, чем ума.

Тем, кто громко без толку орёт,
Чаще бы смыкать свои уста:
Через широко разверстый рот
В голове заметней пуста...

В науках колдовских не искушён,
Я к матам не могу себя причислить,
А от невежд и хамов защищён
Их скромными способностями мыслить.

Без нужды прошлое ты походя не трогай:
Всегда с оглядкой жить — ни в чём не повезет.



Ведь даже верно выбранной дорогой
Шагать непросто задом наперед.

Был некто лёгким на подъём,
Теперь живёт в Европах где-то:
"Пророк в отечестве своём" —
Вписал в ОВИРе он в анкету.

Когда у вас растёт живот,
То значит, в жизни вам везёт:
У парусов под ветром — норма
Такая выпуклая форма.

"Трудись от солнца и до солнца" —
Святая заповедь японца.
"Не верь, не бойся, не проси",
Как говорили на Руси...

О женщина! Подчас и сам Аллах
Твои причуды объяснить не в силах.
Вчера она вам ключ от сердца отдала,
А завтра, глядь, уже замок сменила.

Непросто одиночке ладить с тяжкой ношей.
И разве что одно его утешит тут:
Когда б коллегиально создавалась лошадь
В итоге получился бы верблюд.

Жаль, не слышат нас боги и маги,
Только было бы кстати весьма,
Чтобы глупым — поменьше отваги,
А отважным — побольше ума.

Быть самим собой — всегда уместно
Да в конце концов и просто честно.
Если взводный смотрит генералом
Значит, этот имидж свой украл он.

В родстве у нас ПОБЕДА и БЕДА.
И вот в чём здесь причина сходства:
Мы на великое способны лишь тогда,
Когда нам просто ничего не остаётся.



Алла Акименко

Родилась в Совгавани. В Биробиджане живет с 1966 года. Здесь закончила библиотечное отделение колледжа культуры, а в Хабаровске - государственный педагогический институт. Преподавала русский язык и литературу в средних школах № 8 и 10, профучилище № 4. Трудилась научным сотрудником областного краеведческого музея. Сейчас она заведует национальным сектором областной научной библиотеки им.Шопом-Алейхема.

Первое стихотворение напечатала в газете «Биробиджанская звезда» в 1973г. С тех пор ее стихи регулярно печатаются на страницах областных газет. В музыкальном поэтическом сборнике «Славен в стихах и песнях Биробиджан» опубликован цикл стихов А.Акименко, посвященных городу на Бире.

Читая стихи А.Акименко, убеждаешься, что автор стремится получить в руки инструмент, с помощью которого можно донести до читателя свои мысли, чувства, свой взгляд на окружающий мир.



Поворожи мне, милый, на руке,
Почародействуй над моей ладонью.
Не по руке - по жизненной реке
Отправимся вечернею ладьею...
Мелькают расписные терема.
А вот уже и золотые горы...
Но только не сума и не тюрьма —
С таким-то молодцом бывать ли горю?
Ты ворожи, а я обворожу.
Пусть женская судьба звездой зависнет...
В твоей руке - все то, чем дорожу,
Мы от мужчин порою так зависим!
Не говори всей правды до конца,
Неважно, что сегодня наворожишь:
Три свадебных веселых бубенца
Или узоры дегтем на воротах.

Плодоносящий маленький Израиль...
Я - твой росток, попавший на Восток...
Тем, самым первым, изгнанным из рая,
Бог все же оставил райский уголок...
Все говорят, что городок курортный,
Кто хоть однажды в гости приезжал,

Живет во мне любовью первородной
 Мой райский уголок - Биробиджан.
 И пусть я не иудей по крови -
 На идише мне город деиства пел
 Мотив негромкий тополиной кроны...
 И Сарра мне качала колыбель.
 Я примечаю: на большой планете
 Такие благодатные места,
 Где путеводной звездочкою светит
 Избранник Бога и народ Христа...
 В оправдах лиц усматриваю лики,
 Любовь и скорбь вселенскую - в глазах,
 Народ, который о себе «великий»
 Другим еще ни разу не сказал...
 И каждый, как пчела в янтарных сотах,
 За дело взявшись, толком завершит,
 Коль по-еврейски, без ленцы, работать,
 То можно по-еврейски «сладко» жить...
 Среди берез и сосен величавых
 Земля моя бодрее и мудрей,
 Покуда рядом с головой курчавой
 Свет миру дарит мой собрат - еврей.
 Надежно ненавязчивое братство,
 Общение не в тягость - только всласть.
 Мне никуда вовек не оторваться,
 Где проросла - там крепко приросла.
 1991 г.

Вишня

Заневестилась вишня
 На пушистом ковре,
 Заневестилась пышно -
 Голько вдруг в декабре.
 Две тонюсеньких ветки,
 Словно брови вразлет,
 А над ними соцветья
 Снег искристый и лед.
 Ах, ты вишенка-вишня,
 До чего ж хороша!
 Под окно мое вышла,
 Чтоб очнулась душа,
 Чтоб весенние соки
 Забродили во мне,
 Чтоб не стыть одиноко
 На морозном огне.
 1994 г.

То живу легкокрыло, то тяжко,

То черны, то белы волны дня
Жизнь моя, ты морская тельняшка,
Хоть в полоску, а греет меня
На ветрах, но гляди, не остужен
Сберегаемый нами очаг.
На столе - незатейливый ужин
И тепло - в драгоценных очах
Может, поутру шторм нас разбудит.
Мой корабль куда приведет?
И волною волненье: что будет
С нами всеми, когда рассветет?
Не рассветом живу, а просветом,
В черных днях добрый смысл ищу:
Ведь полосочка белого цвета
Вновь последует - тем и дышу
1993 г.

Обидят, оболгут, бывало,
До тяжких дум, до горьких слез.
Тогда к тебе я прибываю,
Ты там, средь сосен и берез.
Идем к протоке над обрывом,
Садимся в лодку и - пошел!!
Над головой короной брызги,
К руке - Биры прохладный шелк.
Несемся, волны рассекая,
По голубым разливам вод.
А речка быстрая такая,
Мотор натруженно ревет.
Мне хочется быть чуть похожей,
Лихой и сильною, как ты.
И боль недавняя проходит,
Смешна нелепость суеты.
А красота кругом какая!
В златом песочке берега,
Венки цветов в лугах мелькают,
Сосновый бор, за ним стога.
А воздух свежий и медвяный,
А небо - сини купола!
И я кричу сквозь гул: «Татьяна!
Какая родина у нас!»
И думаю о том, как часто
Нас печат от обид и лжи
Друзей душевное участие,
Земля, где выпало нам жить.
1987 г.

Мария Глебова

Родилась, училась в поселке Селихино Комсомольского района. Окончила Комсомольский пединститут. Ровно тридцать пять лет назад на страницах районной, затем городской газеты «Дальневосточный Комсомольск» были опубликованы ее первые стихи. Литературным наставником был у нее известный поэт Николай Кабушкин.

Четверть века Мария Константиновна живет в поселке Будукан Облученского района и работает преподавателем русской литературы в местной школе, и руководит литературным кружком. Ребята издают рукописный журнал, где помещают свои стихи, очерки, рассказы.

Высоко отзывается о творчестве Марии Глебовой Биробиджанский поэт Виктор Соломатов. Он утверждает, что ее «...собственное творчество отличается поэтичностью, яркой образностью, глубиной мысли, умением увидеть большое в малом, единством формы и содержания. Словом, всем тем, что делает из стихотворца Поэта».

В Томском государственном пединституте издается литературное приложение «Гленира» к журналу «Кредо», выпуск которого 250 лет назад обосновал известный русский поэт Гавриил Романович Державин. Рядом со стихами великого поэта представлено творчество молодых институтских литераторов. В одном из сборников помещены стихи и нашей землячки Марии Глебовой, получившей всероссийское признание.



Уроки

Изучаем «серебряный век»,
Как ведется по школьной программе.
Кружит, кружит серебряный снег,
Отдыхая на старенькой раме.
Зимний поздний рассеянный свет
Разбавляет ночные чернила.
Оживает Маринин портрет:
«Смерти нет. Я о ней позабыла.
Есть звучащие строки мои,
Есть снега и над реками льдины,
А в Тарусе весной - соловьи,
В октябре по оврагам - рябины...
Там, в Париже, бродила госка...
Здесь, в России, беда за бедою.
Но весной... Разольется Ока,
Все печали смывая водою,
Русь. Поэзия.
Нежность и честь.
Я в безвестной могиле не сгину».
Да, наверно, бессмертие есть.
Ты Цветаеву знаешь, Марину?

В сердце падает бусинка строк,
Может, станет она оберегом?
Рассвело. Кончен первый урок.
Тополя запорошены снегом.
Уроки не проводят - проживают,
Переживают, если что не так,
Когда глаза детишек уплывают
В район окна, футбола и собак.
То многомерность русского глагола,
То найденная первая строка.
Кораблик. Пчелы. Заброшенная школа
Соединяет страны и века.
Извечные проблемы русской доли:
Стареет век, он никого не спас,
Но у меня смеются дети в школе -
И значит, завтра все-таки за нас.

Памяти Марины Цветаевой

Серебро Марининых браслетов,
Серебро Марининых стихов...
Хорошо в Тарусе ранним летом
Предрассветных слушать петухов.
Над Окой прохладные туманы,
Розовый шиповник у террас.
Родина - вовеки осиянна,
Даже отвергающая Вас.
А когда сентябрьская рябина
Полыхнет в насупленном бору,
Отзовусь, откликнусь: "Да, Марина," -
Так, как помянула бы сестру.
Так вот вспоминают самых близких,
Снова в сердце чувствуя укол.
Нет в России даже обелиска,
Только голос - он один дошел.
И душа Маринина - Психея
(Говорят, что душу не убить)
Бродит в мире. Нас с тобой жалея...
Ведь "жалеть" - читается "любить".

1 сентября

Чем пахнет школа в сентябре?
Травой в туманном серебре,
Полынью - старенький забор,
Покраской свежей - коридор,
Где ни царапинки пока,
Где голос первого звонка.
Судьба сложилась так, а не иначе.
Перевернуть? Переиграть? Зачем?

Моих детишек первые удачи -
Странички из написанных поэм.
Уже дорог веселое круженье
Вывязывает тропку на заре,
И радуется беспечное движенье
Знакомых лиц на маленьком дворе/
Что ж, осень... не своди с весною счеты:
Воздушный замок выше, чем дома,
Давай свои контрольные работы,
Пока хватает сердца и ума

Эмигранты СНГ

Как страшно,
Если рухнул дом,
Хотя вполне в порядке зданье.
Пейзажи плыли за окном,
Меняя цвет по расписанью:
Был рыжий, а потом седой.
Сугробы вдруг заголубели,
Казался новою бедой.
Нежданный путь
К неблизкой цели
В Россию... Где еще не ждут,
От мест, где наизусть травинки...
А километры все бегут
И сердце рвет на половинки.



Роальд Васильев

Для Роальда Леонидовича песня - это особый вид творчества, требующий дополнительных усилий, знаний, определенного настроения. Он пишет стихи, а потом - как композитор - перекладывает на музыку. Этот путь очень трудоемкий. Но Роальд Васильев не боится трудностей, он придерживается принципа: музыка-стихи-песня.

...Родился Роальд Васильев 5 августа 1931 года в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области в семье воен-нослужащего. Семья часто переезжала с места на место. Роальд закончил среднюю школу и получил музыкальное образование в г.Станислав (Украина). Затем была военная служба, учился в Хабаровском музыкальном училище, откуда по направлению приехал в г.Биробиджан и около сорока лет работал преподавателем в колледже культуры.

Много стихов и песен Роальд Леонидович посвятил Биробиджану, дальневосточной природе, также любви и верности.



Ветеран посадил березку

Ветеран посадил берёзку,
Чтоб высоко она росла.
Ветеран посадил берёзку,
Чтобы память о нём жила!
Чтобы дали под ней играли,
Чтобы пели весной соловьи,
Чтобы жизнь на земле продолжали,
Чтоб улыбки - цвели!
Будут ветры буйные
И снега колючие,
Но согреем веточку
Мы своим теплом!
Снова берёзка оденет сережки,
Снова зелёные вспыхнут листочки -
Радость пришла в наш дом!

Рябина

Под ветрами рябина качалась,
На морозе рябина стыла,
Изумрудной росой умывалась,
И была, как невеста, красива.
Но ветра налетели шальные,

Разудалые, буйно-хмельные?
Песни пели, с собой приглашали,
Отгулявши, опять улетали.
А она оставалась радёхонька,
А она оставалась краснёхонька,
Всё весну-красну дожидалась
И ему одному улыбалась!

"Светлане..."

Улочки нашего детства

Улочки нашего детства,
Наши дома и дворы -
На Безымянке у школы
Выросли я и ты.
Снег заметал наш дворик
Или журчали ручьи,
За руки взявшись, прямо по лужам
Шлёпали я и ты!
Мне тебя не хватает, Светлана.
Не хватает твоей доброты
Ну зачем ты покинула город -
Город радости, город мечты.
К синим морям, к стенам печали
Лайнер тебя унёс...
Недолюбили, недомечтали,
Не поднялись до звёзд!

Пролетели весной журавли

Пролетели весной журавли,
Обронили над речкой перо
И с собой мой покой унесли
Далеко, далеко, далеко.
Далеко, за снега и туманы,
Где по рекам идут караваны,
Где багряных саранок прибой,
Где Амур голубой.
Я по улицам светлым иду
И родные места узнаю.
Это первая школа моя,
Улыбаются мне тополя.
Извини, что я не был давно
И тропинку мою замело.
Я полсвета, полмира прошел -
Лучше края нигде не нашел!
Поднимается солнце вдали,
И саранки опять зацвели.
Я от слез удержаться не мог,
Я вернулся, мой Дальний Восток.

Марина Смирнова

Она называет себя биробиджанкой. Здесь родилась, окончила среднюю школу № 9, затем - колледж культуры и учеба в Хабаровском институте культуры.

У Марины умело сочетается синтез театрального и литературного таланта. Она блестяще дебютировала в роли Розалии Спивак - героини романа Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды», Басько - в постановке по рассказам Исаака Бабеля. Последние десять лет она - актриса кукольного театра «Кудесник».

Не случайно многие из своих стихотворений она посвящает описанию нелегкого актерского труда, жизни людей театра.

Стихи Марина пишет со школьных лет. Печатаются они на страницах областных газет. Одаренной поэтессе присуще образное видение окружающего мира, умение передавать это видение точным и емким словом. Естественны в ее творчестве лирические мотивы, присутствуют чувство и мысль сердца и разума.

Марина - мечтательный человек, у нее много друзей, любит общение, музыку, театр. В этом секрет образности ее мышления, броскости метафор, точности поэтических сравнений.



Гимн дождю

Обрушился весенний дождь на город
И вывел из ночного забытья.
Вдруг застучал по крышам звонкий молот
Серебряного чистого литья.
Он разбудил застывшие громады,
По глади стекол задробил, смеясь,
В озерах, реках, лужах, водопадах —
Стихийная весны и лета связь.
Но где-то там, в квартирной колыбели
Весенней и бушующей страны,
Ребенок спит на розовой постели
И снятся ему белые слоны.
И безмятежно маятник кончает
Минуты и часы, и в свой черед
В ладошках теплых время отдыхает
И доброй феей в детских снах живет.

Осенняя элегия

Тут, в аллее пустой,
Осыпаются желтые клены
И предутренний сумрак небес
Фонари погасил.
Может быть,
Александр Сергеевич Пушкин,
Влюбленный,
Точно так же, один,
По тропинкам безмолвным бродил.
И слетались к нему
Лепестков отцветающих нимфы,
И под ветром склонялся
Их тонкий надломленный стан,
И слагались под сводом листвы
Богом данные рифмы,
Где Творец и Мадонна,
Людмила и гордый Руслан.
Росы в листьях чисты,
В листьях пиковой,
Трефовой масти,
Но из сумрака видится
Чей-то таинственный лик.
И поэта душа
Уже в новой неведомой власти
Тайной страсти
Еще не придуманной им
Дамы Пик.
У пожаров осенних
Так трудно душой отогреться,
Но горячего сердца
Тревожный полет не бескрыл,
Всколыхнулись вдруг в памяти
Сказки далекого детства...
Дней суровых подруга...
Веселья лицейского пыл...
Сожалеть о годах?
Ведь за тридцать —
Ничтожная малость.
Дальше, дальше —
Тропинкам из строк
Не поставлен предел,
И так много еще

Дописать в эту осень осталось,
И бокал свой прощальный —
Его Моцарт поднять не успея.
Звезд осенних кружение,
Их светского вальса-беспечность.
Все ложится на чистый,
Еще не прочитанный лист...
Медный всадник, сентябрь
На коне, улетающем в вечность,
Сквозь пространство и время
В безбрежную даль пронеслись.
Вот и все, толстый том
Краткой жизни закрою.
Ночь глядит на рубеж
Новой эры людей.
Плед шотландский...
Автограф... Геро золотое
И стремительный росчерк
Его бесконечных страстей!

Время

Я пленку прокрутила забытого кино...
Нас время изменило уже давным-давно.
И рифмой сладко-нудной
Тебя не удивить.
О Господи!
Как трудно Артисту угодить!
А память то подгонит,
То вновь вернет назад
Ты знаменит! Ты - понят,
Но погрузнел твой взгляд.
Вновь мир весною полон,
То режу, то грешу!
Не плачь, печальный клоун!
Тебя я рассмешу!

Романс

Они пели про море...
Темно-синей волною
Уплывали куда-то
Темно-синие сны.
Она пела про море
И с душою больною
Провожала фрегаты

Одиноким страны.
Она так не любила
К вам из снов возвращаться,
А тем, кто черен душою
И не верит в добро.
Она так не любила.
По утрам расставаться,
Когда с серого неба
Льет дождей серебро.
И всегда надевая
Старый плащ цвета скуки,
Уходила ночами
По аллеям пустой.
И тянулись ей вслед?
Словно тонкие руки?
Чуть озябшие ветви
С облетевшей листвой.
Лишь ночная природа?
От безмолвия шалея,
Принимала в объятия
И желала добра.
И все пела вдали
Чья-то грустная фея:
«... Нам уже не вернуть
То, что было вчера».



Виктор Антонов

Он молод, красив и талантлив. Любит свой город на Бире, где родился. Школу-лицей, где учился. Медицинский колледж, давший ему профессию фельдшера. Отслужил он в армии, вернулся в родной Биробиджан и работает вот уже более десяти лет фельдшером на станции «Скорой медицинской помощи».

Литературой увлекается со школьных лет и очень благодарен учительнице Надежде Владимировне Лемешко, которая умела поощрять проявление творческих способностей подростков.

Виктор женат, у него подрастает забавный и смывленный сын Никита. Первые литературные работы - стихотворения для детей, Виктор Иванович опубликовал в городской газете «Ди Вох» («Неделя»). Затем его заметила заведующая отделом культуры газеты «Биробиджанская звезда» Лариса Ульяненко.

Вскоре «Биробиджанка» стала публиковать литературную страничку для детей, рубрику, которую вел внештатный корреспондент Виктор Антонов. Большое доверие!

Виктору везет на настоящих, душевных наставников. И среди них - Нина Филипкина, которая оказала ему большую помощь в совершенствовании поэтического мастерства и открыла путь печататься в газете «Биробиджанер штерн». Первая подборка Виктора состояла из стихотворения «Город под радугой» и миниатюры «Три слова о детстве». Было это 11 февраля 1997 года.

Сегодня можно вполне сказать: творчество В. Антонова весьма разнообразно и самобытно. Виктору Ивановичу не чужд эксперимент. А еще в его произведениях наличествует некая национальная жилка. Есть попытка написания русской исторической песни. Одни из них — это чистая стилизация, другие - откровенно современные, злободневны по содержанию, однако автор использует в них фольклорные образы и обороты, а исторические песни написаны уже ушедшим от нас языком семнадцатого-восемнадцатого веков... Задачи автор поставил перед собой нелегкие и решает их с характерным ему творческим поиском и фантазией.

В музыкально-поэтическом сборнике «Славен в стихах и песнях Биробиджан» опубликована подборка стихов о любимом городе, а в разделе «На музыкальной волне» впервые опубликована его песня «Баллада о сыне», музыку к которой написал композитор Р.Л.Васильев.



Вальс

Тихо кружится зрелая осень
На развилке житейских дорог...
Мы, родные, вас любим и просим
Дать нам жизни открытый урок.

Научите нас верности нежной
 Навсегда, навсегда, навсегда.
 Научите не жить без надежды
 Никогда, никогда, никогда!
 Потанцуйте хотя бы минутку,
 Научите и нас танцевать:
 Нам сегодня не кажется шуткой
 Старых вальсов особая статья.
 Скверы, парки меняют одежды,
 Изменяют свой лик города...
 Мы вас любим...
 И осень надежды
 Золотит ваши дни и года!

Песня

Жили на свете братья,
 Трое братьев-погодков.
 Красивыми были братья,
 С сильными голосами.
 Любили они петь песни
 И старую песню отца:
 "Один любил рыбачку,
 Другой любил княжну,
 А третий — молодую
 Плотника жену".
 Меняют годы и небо...
 У братьев свои заботы
 И жены потом появились.
 Один только был отец,
 Любивший старую песню:
 "Один любил рыбачку,
 Другой любил княжну,
 А третий — молодую
 Плотника жену".
 Когда изменилось небо,
 Уж братья не пели песен.
 Были у братьев годы...
 И были заботы, жены,
 И братья не пели песен,
 Их дети не знали даже
 Музыки дедовских слов.

Сказка жизни

Я жил в тридевятом царстве,
 Там у меня была мама,
 Детство, большая собака
 И жгучая тайна любви.
 Я жил в тридевятом царстве,

Что не было безмятежным.
Там я потерял собаку,
Узнал о жестокости смерти и жизни,
Узнал я жгучую тайну любви.
Однажды я привел в это царство
Чужую девочку.
И там в девочке родилась мать...
Так я стал понимать вечность.

Утро России

Русь моя Великая -
Любовь моя чистая!
Раскинулась ты
На полсвета белого
Под небесами лазоревыми,
Умылась водами
Синих морей и моря Белого,
Улыбнулась красному солнышку,
И пропели тебе лебеди
Из дали вольной:
"Не закатится над тобой - Солнышко!"

Рождение языка

Плесом плюхает плотвичка,
Шепотком шуршит камыш.
Ветер к речке по привычке
Пробирается, как мышь.
Этим утром перламутром
На траву легла роса.
Это утро будет мудрым
И звенящим, как коса!
Отзываются пригорки —
Дети тёплого луча —
Озорной скороговоркой
На пословицу ручья.
Дали тенькают, кукуют,
Над болотом чей-то зык,
Ветер дует и колдует -
И рождается язык.

"Такая уж пора..."

Пришла шуршащими шагами,
Не задержавшись ни на час,
По-бабы тёплыми руками
Ласкает и ласкает нас.
Вот ей на солнце снято вето,
И нерастраченная ярь,
Дождями памятного лета
Плеснула в рыженький сентябрь.
И где калинные рассветы

Встают на крыльях журавлей,
Для музы - девочки моей -
Цветут сюжеты.

Сонет

Я каждый день спешу к моим стихам,
К привычным рифмам, темам и размерам.
Мне есть пример. Кому-то я - примером.
И каждый день спешу к моим стихам.
Я каждый день спешу к моим стихам,
Пусть не изобрету ни ямба, ни дактиль.
Да, было Слово. Я - Стихов создатель.
И каждый день спешу к моим стихам,
Я каждый день спешу к моим стихам,
Моих стихов к героям неизвестным.
Я верю - мир для них не станет тесным.
Я каждый день спешу к моим стихам,
И твердо верю: каждый звук и зык
Вместить в стихи сумеет мой язык!

Сэр Улитка

Сэр Улитка - интурист.
В трудный путь - с листочка - вниз,
Он отправился пешком
С неизменным рюкзаком:
Может, дождик вдалеке,
А палатка - в рюкзаке.

Мишкино веселье

Мишка выстроил берлогу,
Приложил немало сил,
Но к себе на новоселье
Никого не пригласил.
Утомившись от работы,
Захрапел в постели он.
О гостях и о гулянье
Мишка смотрит длинный сон.

Сороки

Дятел пишет объявление,
Не жалея длинный нос:
«Здесь сдаются три берёзы
Под постройку птичьих гнёзд».
Прочитали объявление
На берёзовой коре
Три сороки-белобоки,
Расшумелись на заре:
Делят тёплые местечки,
Будто леса нет вокруг,
И воруют в гнёздах ветки
У завистливых подруг!

Павел Алексейчук

Павлу Ксенофонтовичу - за пятьдесят. Возраст, в котором человеку свойственно переосмысление прожитого, своих дел и поступков. Пишущему - вдвойне. Вспомним вот эти строки:

Словно крохотные бочки
Зелена вина,
Распускает почки
Щедрая весна.
Вышибает с треском донце:
Пей, кто жизни рад!
Захмелев, целует солнце
Все и всех подряд!
И становится все краше
И светлее май.
Хочешь счастья?
Вместо чаши
Сердце подставляй!



Всего-то несколько строк, а чувствуешь, как весна уже коснулась своим дыханием души, потеснив из нее печаль затянувшихся зимних вечеров, поманила ощущением необъяснимой радости, обещая только хорошее впереди...

Читая стихи Павла, трудно поверить, что они написаны человеком, который в детстве потерял зрение.

...Родился Павел в с.Птичник - пригороде Биробиджана, в послевоенном, 1947 году. Он помнит первые детские книжки с яркими картинками и большими буквами. А потом читать становилось все тяжелее, как будто туман застилал глаза. И его определяют в школу-интернат для слабовидящих и слепых детей в г.Свободном. После учебы Павел оказался в г.Хабаровске, где работал на предприятии для слепых. Как-то он принес в редакцию газеты «Молодой дальневосточник» свои стихи и был зачислен в литературное объединение. Последние годы Павел Ксенофонтович живет в Биробиджане, продолжая свою литературную деятельность. Его стихи печатаются на страницах областных газет, звучат по местному радио.

Павел Алексейчук - мужественный человек, талантливый поэт. Он стал лауреатом городской премии 1997 года. Последние его стихи отличаются социальной направленностью, а также философским раздумьем над смыслом бытия и противоречием между житейской суетой и непреходящими ценностями человеческой души.

Писать в наши дни на социальные темы - это значит проявить самостоятельность суждений и смелость в их изложении. То и другое присуще творчеству Павла Алексеичука.

В музыкально-поэтическом сборнике «Славен в стихах и песнях Биробиджан» помещена подборка стихов Павла Алексеичука. Самодеятельный композитор Роман Савченко на слова Павла написал музыку к песне о городе на Бире.

Соседи

С жиру и голоду ринулся в храмы
Наш разномастный российский народ.
А вдоль проспектов оконные рамы
Всюду одеты в стальной переплет...
Сделав визит к милосердному Богу,
В церкви отмяться, спешим поскорей
Прямо от Бога - к свирепому догу,
Ждущему нас у железных дверей.
Лишь заперев тяжеленные двери,
Пса обласкав от ушей до хвоста,
Все по привычке в квартире проверив?
Мы с облегчением помянем Христа.
Наше жилье - то ли сейф, то ли клетка,
Крепость, тюрьма и копилка тоски.
Даже соседка с другою соседкой
Видятся только в дверные глазки...
Встретить живущих со мной по соседству
Даже у лифта не все повезло.
Вновь обращаюсь я мысленно к детству
И вспоминаю родное село.
Вижу сморенный жарою июля
Тихий, спокойный, доверчивый дом.
В полночь, надев занавески из тюля,
Спит он беспечным и праведным сном.
Был бы для окон, распахнутых настежь,
Летом не нужен и этот покров.
Если бы миловал Бог от напасти
Вечно голодных и злых комаров.
Наши досчатые легкие двери
С ржавым висячим замком без ключей
Век продержались на полном доверье
Честных и верящих в честность людей.
Часто входили, хоть редко стучали,
Прежде сельчане в соседскую дверь,
Будни и праздники вместе встречали
(Так и родня не умеет теперь)...
Горем и радостью щедро делились,
Дальних прощая и близких любя,
И, как умели, иные молились
Не на показ - от души, для себя.

Мой Христос

Когда горят рождественские свечи,
Мне в свете их является не Бог,
А плод горячей плоти человеческой
Земной любви естественный итог.
Он рос на прочих смертных непохожим
Избытком щедрых чудотворных сил,
И, вовсе не лукавая, сыном божьим
Не в добрый час себя провозгласил.
Ведь многим и доселе неизвестно,
Что в темный век бессмысленно распят
Был самый добрый, искренний и честный
Великий экстрасенс и телепат.
И был ли он дитя легионера,
Простой ли плотник был его отец,
С ним родилась незыблемая вера
Во всепрощенье любящих сердец.
И если он, как эта вера, вечен -
Воскресший и вознесшийся Христос,
То почему от скверны не излечен
Наш грешный мир, беспомощный до слез?
В земном пути, тернистом и недолгом -
Он сделать столько доброго успел!
А став всевышним всемогущим Богом,
В своем раю остался не у дел...
Неужто мало двух тысячелетий,
Чтоб, как царю вселенскому, ему
Устроить лад на маленькой планете
В знакомом с детства собственном дому.
Не знаю, кем и где он похоронен,
Землянин странный, славный полубог,
Но быть лишь наблюдателем сторонним
Тот, мой Христос, конечно бы, не смог.
Я ощущаю вечную потерю,
Вникая в полусказочный завет...
Я в Рождество Христово твердо верю,
А в воскресенье, к сожаленью, нет.

Невидимка

Жила старушка невидимкой на окраине,
Жила недавно в нашем городе она.
С ней поздний день встречался
В крохотной проталине,
Когда садилась отдышаться у окна.

Всего-то дел: печурка бережно растоплена,
В одной кастрюльке на день сварено поесть...
Но вот усталость в каждой косточке накоплена -
Не мудрено, когда тебе за восемьдесят шесть.
В дойишке нет ни телевизора, ни радио,
Чтоб не свела с ума такая немота,
Старушка постными обедами привадила
Дождливой осенью бездомного кота.
Он видел слезы под поникшими сединами
И слушал жалобы, свернувшись у плеча.
Ночами темными, холодными и длинными
Кот грел ей душу и баюкал, рокоча.
Но грех сказать, что ей жилось
Совсем без радости.
Снег у крыльца ведерком черпая зимой,
Старушка Богу посылала благодарности:
Ведь не добраться до колонки ей одной.
Хватало пенсии на хлеб и на лечение,
Два раза в месяц в продуктовый магазин
Ходила девушка из соцобеспечения
И, если нужно, покупала керосин.
Других гостей не ожидала горемычная.
Протянет день и тихо мается впотьмах.
И только смерть, к любым
страданиям привычная,
К ней зачастила в беспокойных полуснах.
И все нашептывала злая собеседница:
Возьму с собой, мол, кто проведает тогда?
От снегопада миновало уж полмесяца,
А у калитки - ни единого следа...



Олег Фасхудинов

Родился в 1938 году в Биробиджане.

Всю свою сознательную жизнь проводит за баранкой автомобиля и автобуса. Исколесил Сахалин, Алтай, Сибирь, Забайкалье, Биробиджан. Свои незабываемые впечатления стремится изложить в стихах, которые регулярно публикуются на страницах газет «Биробиджанская звезда», «Биробиджанер штерн». Самодеятельный поэт славит природу Приамурья, ему не чужда гражданская лирика, патриотическая тематика.

Олег Захарович – равнодушный человек, он живо откликается на злободневные события в мире, стране.

Последнее время пробует свои силы в прозе.



Дубок

И поздно вечером, и рано поутру,
В морозы лютые на ледяном ветру
Стоит дубок – у дома часовой,
Согретый прошлогоднею листвою.
Он листья старые всю зиму бережет
До той поры, когда весна придет,
Когда из почки, свеж, душист и чист,
На место старого пробьется лист.
С улыбкой станут любоваться люди
На мой дубок в узорном изумруде.

Незнакомке

Знаю я, что на свете
Ты такая одна,
Нынче в вешнем просвете
Вижу небо до дна.
Песней полнится сердце
От зари до зари,
Никуда мне не деться
Без тебя, хоть умри...
Все цветочное море
Шмелем я облетал,
Но в душистом просторе
След любимой пропал.
Что ж, весна – не мгновенье,
Я еще погрузу
И любовь, без сомненья,
Все равно отыщу.

Приземлились цветы-недотроги
На поляне у самой дороги.
Легкий ветер дождался минуты,
Чтоб раздуть семена-парашюты.
Жмутся кучками, словно цыплята,
Там, где примула, клевер и мята,
Одуванчики — пасынки лета —
Золотистого теплого цвета.
Вон их сколько! И слева? и справа...
Для детей и влюбленных — забава.
У девчонки венок — что корона:
Одуванчиком стала Алена.

Кленовый звездопад

Он начинался бабьим летом
И? как художник, колдовал,
Когда горячим ярким цветом
Аллеи парка рисовал.
Мы, помнится, совсем недавно
Свиданиям открыли счет,
А по земле кружился плавно
Сердец бордовых хоровод...
Поблекли краски, как с годами
Бледнеют юности мечты,
И что-то встало между нами,
И в чем-то изменилась ты.
Я не ревную: чувство злое
Сумел оставить в стороне,
И отзовется все бывшее
Кленовой звездочкой во мне...



Анатолий Делюкин

Живет в поселке Николаевка Смидовичского района. Рабочая биография, казалось бы, не готовила его к занятию поэзией. После седьмого класса он работал сначала учеником, затем линейным мастером телефонной станции.

Пути-дороги привели Анатолия Васильевича на золотой прииск в Ульчском районе, где трудился электриком драги.

В 1961 году опять вернулся в Николаевку и продолжает свое образование в школе рабочей молодежи. Здесь и начал писать стихи для участников художественной самодеятельности, в стенгазету. А в 1983 году послал несколько своих работ в районную газету «Светлый путь». Их публикация вдохновила. Затем стихи Делюкина публиковались в областной газете «Биробиджанская звезда».



Лирика, стихи на гражданскую тематику, басни и эпиграммы Анатолия Васильевича находят живой отклик у читателей. Особенно ему удаются строки о дальневосточной природе, отражающие любовь к родному краю. На стихи А. Делюкина сложено немало песен, которые используются коллективами художественной самодеятельности, в том числе хором ветеранов войны и труда Биробиджанского Дворца культуры. Начало положили здесь солистка хора, самодеятельный композитор-гитарист П.П.Товстопят. Перекладывает стихи А. Делюкина на музыку баянист хора Р.В.Савченко.

Свидание с родиной

Я побывал на Родине моей,
И мне старушка место показала,
Где на краю возделанных полей
Моя деревня некогда стояла.
Моя деревня. Мой родимый дом.
Ушли навечно в прошлое когда-то.
Я это место отыскал с трудом,
Вот здесь, вот здесь стояла наша хата.
Вот здесь цвели весенние сады.
В них яблоки Антоновские зрели.
Отец за садом выкопал пруды.
Над ними звонко жаворонки пели.
Вот здесь меня трехлетним пацаном
Мать по тропе натоптанной водила,
Когда на выпас за большим гумном

В обед корову подоить ходила.
Вон там отец канаву прокопал.
Копал, как помню, долго и сердито,
Край поля чтоб никто не наезжал
И не топтал посеянное жито.
А вон пригорок - рощицей покрыт.
Там кладбище - людских судеб крушений.
Там со времен войны сестра лежит,
Не вынесшая тягот и лишений.
Из этих мест в те страшные года,
Когда земля огнем была объята,
Когда текла здесь красная вода,
Конверт последний получил от брата.
Я вспомнил двор. Березы у ворот.
Большого дома светлые окошки...
Теперь никто, никто здесь не живет,
И заросли забытые дорожки.
Где это все? Куда ушло? Зачем?
Поля! Поля! Я жду от вас ответа.
Ведь Родину не заменить ничем,
А Родина без Дома... Что же это?

Тихий лес

Тихий лес я давно навещаю
Хорошо и отраднo в лесу.
Здесь я полное счастье встречаю,
Я сюда свои беды несу.
Так легко на душе! А давно ли
От утрат, от лишений страдал?
Только здесь исцеляюсь от боли,
Только здесь нахожу идеал.
Вот березка - совсем молодая,
Повторяю: в березку влюблен:
- Что грустишь ты, моя дорогая?
Столько жизни здесь с разных сторон!
- Так не будь же и ты одинока,
Находи бескорыстных друзей.
Да и я тут живу, недалеко,
А вдвоем нам уже веселей.
Вот дубок гордо голову вскинул.
Поглядишь на него — ухажер!
Приглядел молодую осину,

В ее сторону ветви простер.
А осинка, как-будто смутилась,
Чуть склонила вершину к плечу,
Словно в жизни впервые влюбилась,
Шепчет мне: «Позовет - полечу!»
Я стою и люблюсь осинкой...
Как не вспомнить тут юность свою!
Капли слез выступают росинкой...
Я не плачу, нет, нет... Я пою!

Здесь мои березы

Не зови, бирюзовая даль,
Не мани, Средиземное море.
Мне расстаться с березами жаль:
Вместе с ними я рос на просторе.
Чистоту этих светлых берез,
Их зеленую, нежную крону
Я сквозь жизнь в своем сердце пронес
И священную память не трону.
Под березами этими я
Назначал ясноглазой свиданья.
Под березами юность моя
Проводила часы ожидания.
Сколько здесь передумано дум,
Сколько слов пересказано было.
Под березовый ласковый шум
Здесь душа над утратами стыла.
Так что ты меня, даль, не мани,
Никуда не пойду, не поеду.
Здесь вся жизнь и березы мои,
И любовь здесь, и счастье, и беды.

Мечта

Во сне мне видятся опять
Родной Смоленщины равнины.
И так мне хочется обнять
Весь этот край необозримый.
Стою один среди полей
На той земле благословенной
И тихо с Родиной моей
Делюсь мечтою сокровенной.
Я, всей душой ее любя,

К земле губами прикоснулся.
Ну, здравствуй. Родина моя,
Твой сын домой, к тебе вернулся.
Повинно голову склоня,
Жду материнского прощенья.
Но ты захочешь ли меня
Простить за это возвращенье!
За то, что раньше я не смог
Познать к земле родимой жажды,
Что не нашел путей-дорог
К тебе наведаться однажды.
Простить за то, что я порой
Тебя надолго забываю,
За то, что Родиной второй
Я Приамурье называю.
Надежду в сердце я таю,
Неугасимое желанье:
Нет, не во сне, а наяву
К тебе явиться на свиданье.
И ты простишь меня, как мать
Прощает шалости ребенка.
Тебе ли будет не пнять
Меня, родимая сторона!

...Над землею солнце золотое
Н.Капусто

Приамурье мое

Творчество литературной группы
Ленинского района



У литературной группы Ленинского района - многолетняя история. В 60-70 годы у истоков стоял Николай Капусто. Вокруг этого тонко чувствующего русский стих поэта сгруппировались начинающие литераторы. Именно тогда со страниц областной и краевой печати, журнала «Дальний Восток» прозвучали имена Николая Капусто, Александры Цыбаневой, Ирины Метелкиной, Федора Абросимова, Николая Дурнева.

Прошли годы. Состав группы много раз менялся. Разъехались по городам и селам Тамара Ильина, Иван Потий, Владимир Журавлев, Екатерина Ширшова, Мария Фарафоновна, Александр Ивченко, их стихи печатались на страницах областных и районных газет.

Сегодня нет в живых Николай Капусто и Николай Дурнев. Но по-прежнему не мыслят себя без творчества ветераны войны и труда Федор Абросимов, воспитатель Татьяна Турская, журналист Ирина Метелкина, руководитель литературной группы - рабочий Николай Сазонов. Неравнодушные ко всему, что происходит вокруг, готовность откликнуться на беду, любовь ко всему живому, к селу - своей малой родине - наверное, это объединяет таких разных по возрасту и наклонностям авторов.

Литературная группа в Ленинском районе жива, действует. Литераторы охотно выступают со своими произведениями перед земляками, в школах, у воинов, их стихи, рассказы публикуются в печати, выходят отдельными книгами. Веселый огонь, зажженный в старинном русском селе прекрасным человеком и хорошим литератором Николаем Капусто, а именно так называлась его поэтическая книга, и сегодня не угасает.

Николай Капусто

Родился в 1923 году в Белоруссии. С 1950 по 1980г. жил и работал в селе Ленинское Еврейской автономной области. Был корреспондентом областного радио по Ленинскому району, сотрудничал в газетах «Биробиджанская звезда», «Молодой дальневосточник», «Тихоокеанская звезда», «Суворовский натиск».

Николай Владимирович начал печататься в 1955 году. Он автор поэтического сборника «Весенний огонь», редактором которого был наш земляк-поэт и прозаик Николай Наволочкин. Самодеятельный композитор Борис Салтыков написал более десяти песен на стихи Н.Капусто.

Николай Капусто печатался в коллективных сборниках «Литературный Биробиджан», «На берегах Биры и Биджана», в журнале «Дальний Восток».



МАТЬ И СЫН

Говорила мать-старушка сыну:
— Лучше б ты не ехал на чужбину.
Лучше б ты остался дома, сокол,
Жаль мне отпускать тебя далеко.
И не отпускать — какой в том прок?
Разве ж ты слушаешь, сынок?
Только для спокойствия души — пропиши...

Сын приехал на Амур. И что же —
Та ж земля кругом и небо то же.
Только посвежей волна в реке
Да холмы повыше вдалеке.
Новосела встретили ребята,
Проводили в дом для неженатых.
И сказали — в шутку ли, всерьез -
Что богат девушками колхоз.
А поутру вновь пришли ребята:
— Понимаешь, в поле трудновато...

Понимаешь, вышли сеять хлеб —
Человека надо на прицеп...
— На прицеп? Так что ж тут думать, - право,
— Отвечает парень из Полтавы,
— Разомну-ка плечи я на воле!
И пошла гулять машина в поле.

Шла однажды по полю трехтонка,
За рулем — амурская девчонка.
Видит: в поле сеет новичок,
Раза два вздохнула — и молчок!

...Получила мать письмо от сына,
Словно дым, развеялась кручина.
На Амуре зреет урожай,
Просит сын: "На свадьбу приезжай!"
На вокзале гармонист играет,
Все село старушку провожает.
Ты уж не забудь, Петровна-мать,
Нам с Амуре восточку прислать.
Машут ей ветвями тополя,
Поклонилась травами земля...
Ты прощай, полтавский небосклон,
На Восток уходит эшелон.
На Амуре бабушкою стать
Едет мать!

ВЕСЕННИЙ ОГОНЬ

В мае весна разыгралась. И вдруг
Бросила искры зеленые в луг.
Ветер с Амуре раздул уголек,
Вспыхнул зеленый в лугу огонек.
И покатился по лугу, шумлив,
Выбросив пламени буйный прилив.
Кинулось пламя в широкую степь,
В поле, где люди посеяли хлеб.
День ото дня все сильнее и сильнее
Ветер колышет огонь зеленой.
Блещет бескрайнего поля ладонь —
В поле бушует весенний огонь.
Рады в колхозе и молод и стар:
Выше вздымайся, зеленый пожар!

ВЕСЕННЯЯ ЗЕМЛЯ

Пусть соловей — наш песенник-мастак —
Не спел еще ни одного куплета,
Пусть ты еще влажна и не одета,
Но ты взгляни глазами лужиц так,
Чтоб солнце вдруг зажмурилось от света,
Чтоб дождь весны по нивам прошумел,
Своею силой благодатной дивен,
Чтоб этот дождь в полях зазеленел,
Чтоб им рожденный в августе созрел
Пшеничных зерен урожайный ливень!

Николай Дурнев

С творчеством Николая Дурнева жители Еврейской автономной области знакомы с шестидесятих годов благодаря газетам «Биробиджанская звезда», «Амурская нива». Колхозник из села знаменитой «Трудовой нивы» Ленинского района писал о природе родной земли, о богатстве дальневосточной осени, о тех, кто трудом своим делает эту землю еще краше.

...Родился Николай Иванович в 1934 году в дер.Выползово Старооскольского района Курской области. В 1940 году по переселению приехал с родителями в с.Ленинское, окончил школу, горно-геологический техникум. В связи с тем, что внезапно умер его отец и, будучи старшим, пришлось ему стать во главе семейства. Переехал в с.Новое, был рабочим. Пользовался уважением и почетом. Женился. Дочери: Ирина - закончила медицинский, а Татьяна - педагогический техникум. Жена Евгения активно участвовала в художественной самодеятельности. Николай писал ей новые и новые песни, которые многократно были отмечены дипломами и призами.

Случилась беда - Николай Иванович заболел, перенес инсульт, был парализован, но продолжал писать стихи, которые не утратили прежней родниковой чистоты, перо его окрепло и возмужало.

Николай Дурнев умер, но односельчане помнят его улыбку, его песни звучат на сельской сцене. И так будет вечно. Добрый след на земле оставил поэт-трудяк.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Помню утро. Помню эту осень.
В самый-самый буйный листопад
По тропинке узенькой от сосен
Шел походкой твердою солдат.
Шел в пилотке, сапогах кирзовых,
С вещевою сумкой за спиной.
Сколько их за дни войны суровой
Так вот проходило стороной!
Этот же к калитке приоткрытой
Подожел, немного постоял
И, росой осеннею омытый,
Клен руками крепкими обнял.
Я за ним сквозь потное окошко
С детским любопытством наблюдал.

Все казалось, будто бы немножко
Он кого-то мне напоминал.
Мать, ворочая поленьев слитки,
Все ворчала: "Печка не горит".
- Мам! Смотри-ка, дядька у калитки
Возле клена нашего стоит.
- Ну и пусть, - ответила сурово,
А сама к окошку подошла.
Подошла и вымолвить ни слова,
Глядя на солдата, не могла.
Задрожала, будто бы в морозе,
А потом, опомнясь наконец,
Крикнула с улыбкою сквозь слезы:
- Милый мой, так это ж твой отец!
И метнувшись к двери через хату,
С плеч платок домашний уронив,
Птахой пала мать на грудь солдату:
- Федя, милый! Слава Богу - жив!
А за нею следом босоногий
Прямо с полусгнившего крыльца,
Робкий и взволнованный немного,
Я упал в объятия отца.
Нас, целуя жаркими губами,
Он кружил и нянчил на руках.
Радовалось небо вместе с нами
В утренних вишневых облаках.
С той поры мне часто-часто снится,
Хоть и годы долгие прошли,
Как с отцом по ветхим половицам
В хату мы, счастливые, вошли.
У порога вещмешок снимая,
Он промолвил, не прикрыв дверей:
- Здравствуй, хата, принимай, родная,
Приласкай меня и обогрей.

ТРИ МЕТРА

Он расписался на стене рейхстага
На память всем потомкам молодым,
Созвездье славы, правды и отваги
Он утверждал автографом своим.
К победе путь от Волги и до Рейна
Сумел солдат советский проторить.

С одним желаньем, думой сокровенной,
Чтоб людям мир и счастье подарить.
В боях был ранен, трижды был контужен,
Горел, тонул, под танки попадал,
В сырых окопах часто был простужен,
Но наш герой вставал и побеждал.
И вот она - великая Победа!
Какой она досталась нам ценой!
...Под солнцем майским едет воин, едет,
В любимый край, на родину, домой.
Печаль наводят темные руины,
Церквей глухих седые купола...
А тут еще осколок вражьей мины
Кольнет у сердца, будто бы игла.
"Поймал" солдат осколок этой мины,
И верность долгу, Родине храня,
Несет его от самой Украины,
Порой забыв о нем, порой браня.
Стучат колеса по холодным рельсам,
"Домой, домой!" - как будто говорят,
А он опять шевелится под сердцем,
Не утихая третий день подряд.
Ползет неспешно старая теплушка:
То переезд, то кончилась вода...
Но вот она - родная деревушка,
Под ярким солнцем спряталась в садах.
Идет солдат. Здесь все ему знакомо.
Здесь тишина и не было войны.
Идет солдат все ближе, ближе к дому,
Уже плетни ольховые видны.
Уж слышен шум ручья под косогором,
А от него - три метра до ворот,
Он видит: дочка скачет у забора
И с нею рядом - постаревший кот.
Глядит солдат, склонившись на перила,
До них всего лишь три шага шагнуть...
Но вдруг под сердцем снова защемило,
Такая боль - ни охнуть, ни вздохнуть.
Терпеть такое не хватило мочи
И, руки к старой ране приложив,
Позвать хотел он, громко крикнув: "Доча!"
Но губы слиплись, и язык застыл.

Померкло все: и солнце, и сознание,
Качнулось небо в дымке голубой,
И он упал на мостик без дыхания,
Прижав ладони к ране фронтовой.
Прошел бесчисленно он, продутых ветром
Верст по разливам фронтовых дорог.
И лишь до дома не дошел три метра...
Война, война! Будь проклят твой ожог!

Мой Дальний Восток

Тобой увлечен я, тобой околдован,
И ты в моем сердце, как в почке листок.
Прости меня снова за пылкое слово,
Любимый и близкий мой Дальний Восток.
Люблю я полей твоих буйные нивы
И шум городов, и угрюмость тайги,
Озера, заливы, Амура разливы
И древнюю сказку январской пурги.
Цветеньем багульника я одурманен,
Чтоб встретить рассветы, пораньше встаю
И в дымке тумана под шум океана
Тебе величавую песню пою.
Родной уголок благодатной России,
Ты дорог для всех, как целебный росток.
Так будь же красивей, так будь же красивей!
Любимый и близкий наш Дальний Восток.

Федор Абросимов

Родился в 1922 году в селе Шарково Куландинской степи Алтая. С 1937 года живет в с. Ленинское. Будучи учеником восьмого класса, увлекся радиотелеграфом. В этом ему помог опытный специалист Шулежко Т.С. В августе 1941 года был призван в армию и отправлен на Западный фронт. Был личным радистом командующего 50-й армии генерал-полковника Болдина И.В.

Демобилизованный старшина вернулся в родные места, а на заслуженный отдых ушел в должности заместителя начальника Ленинского узла связи.

Печататься начал в армейской газете «Разгромили врага». Его очерки, рассказы, фронтовые воспоминания публикуются на страницах районной, областных и краевых газет, в коллективных сборниках.



МЕЛЬНИЦА МОЕГО ДЕТСТВА

Рассказ

Падает с высоты вода, кружит большое, как дом, колесо с желобами. А в самой мельнице все трясется, пылится, шумит. Тяжелые жернова дробят, трут в порошок пшеничные зерна и в прикрепленный распорками мешок течет ручеек тёплой пахучей муки.

По другую сторону запруды вода намного ниже, чем перед мельницей. Она там плывет медленнее, образуя водовороты и омуты.

Первым на сухом месте вытесал части из равных сортов дерева мой дядя Дмитрий Кузьмич. Затем перекрыли речку мужики из окрестных деревень. Дядя Дмитрий и его подручные из артели собрали готовые конструкции и - колесо завертелось.

По неосторожности, своей или кого-то другого, когда Дмитрий Кузьмич что-то налаживал и подлаживал, механизмы мельницы сами собой заработали. В ту пору сибиряки-чолдоны носили самотканые крепкие холщовые рубахи с длинными рукавами. Вот тот злосчастный рукав замотало, закружило в деревянные шестерни. И как дядя Дмитрий не старался выдернуть рукав рубахи - не смог этого сделать. Вместе с рубахой затянуло и руку. Пока на крик пострадавшего прибежали помощники, по указанию мельника застопорили колесо, но руку раздробило, фактически оторвало. Но раньше люди сами знали при отсутствии врачей, что делать в подобных случаях, и тут же остановили кровь. В деревне бабки-знахарки не допустили смерти. На лучших жеребцах-иноходцах, чтобы меньше трясло, увезли моего дядю в волостной город Камень-на-Оби. Там единственный в округе опытный хирург Илья Моисеевич Могилевский вернул Дмитрия Кузьмича Абросимова к дальнейшей жизни.

По возвращении однорукий мельник продал «водянку». Покупателей на-

ходилось немало и даже из других деревень, но дядя отдал её в долг, в рассрочку, бедному, но знатному мастеру, который помогал ему в конструкции и сборе деревянных деталей, шлифовке жерновов, ковке железных обручей и других частей. Потому немало удивились на селе, когда узнали: «Салынский-то (кличка) съерендился, Никону кривому мельницу в долг отдал, а ему другие напичные предлагали».

Никон Бесчастный действительно имел один глаз, другой вытек при оспе. Он жил бедно, хотя считался мастером на все руки. Высокий, широкий в плечах, на больших своих ногах он крепко стоял при кулачных боях по праздникам. Но по простоте душевной мог отдать свое другому, если попросят.

У моего дяди, как и у многих в деревне Жарково, насчитывающей около тысячи дворов, имелась кличка по святкам, от рождения святого Дмитрия Салынского. У Никона же она была просто из-за того, что он имел один глаз. Но скажу: его решались звать кривым только за глаза. При нем же мало кто смел. А если по пьянке, который и крикнет о кривизне дороги, избы, телеги, то получит изрядную трепку. ...Я любил с отцом ездить на мельницу, любил послушать её размеренный ритм, бульканье воды, понюхать запахи свежей горячей муки. Посмотреть, как напудренные мукой мужики таскают тяжеленные мешки на горбу по лестнице вверх, засыпают там пшеничку в широкое горло приемника, после уже марают свои зипуны - тащат готовую продукцию на подводы.

Надо заметить, помольщики не сразу разъезжались по деревням, здесь, за цигаркой самосада, а то и после четвертинки, обсуждали свежие новости, дела о будущем.

Мне к тому времени исполнилось пять лет. Родился я в 1922 году, значит, к 1927 году по Кулундинской степи прежний сельский уклад жизни людей еще сохранился. Но разговоры на мельнице, на вечерках, на сходках имели место.

Вот у Никона-мельника спрашивали:

- Ты тут, паря, всегда, что слышно-то?

- Да кого-то все мелют, как обмолотные мельницы, про коммунию. Вчерась, сказывали, из Баво был один в кожанке, с наганом. Страшал. Справный мужик Кирьян Добрынин, тот сразу:

- Ну и пусть! А нам ни к чему в круг сбиваться. Горбом всю жизнь наживали, а теперь отдать лодырям - Гурьке Оборину с Акулькой Поповой или Ваньке Кронштатскому, чтобы все пропили или разбазарили. С берданкой выйду!

Старовер Шишигин, тот увещал:

- По божьему писанию, надоть любой власти подчиниться. Супротив идти - грех. Что писано-то в старом завете!..

- Нет! - кричал Савва Булатов, - что нам в сэхартели делать? Там одна канитель...

Через несколько лет, рассказывали, тот же Савва все промотал: две коровы, лошадь, овец, но пришел в колхоз «Красный май», снял шапчонку перед сидящими за столом правленцами, низко отвесил им поклон:

- Старички, примите, Христа ради.

Но то случилось позднее, а сейчас на мельнице еще вертелись монотонно жернова, текли пшеничка и мука, слышались мужские разговоры:

- Слышали, Митрий-то Салма (Салынский значит) собирается на реку Амур махануть, там уже Сорокины, Казин, Евден Ильиных. Хорошо живут где-то, есть Бичан да Венцово...

- Да, паря, - чешет затылок кривой мельник. - Нам-то куда?

- Убогим! - подводит черту Абрам Кашкаров.

Многие, действительно, убежали, другие разъезжались по вербовкам на Кузбасс и даже на новостройки далекого Комсомольска. Кто похитрее оказался, тот доставал липовые справки и по ним получал паспорта на новых местах.

...У длинной жерди, прибитой к вкопанным бревнам коновязи, жуют кони овес, сено. Иногда между ними, как среди людей, начинается разбор отношений - иной только скалит зубы, другой - норовит укусить, а который и лягнуть. Только тогда, когда надвигаются сумерки, мокрое колесо останавливается. Скрипят подводы, а кривой мельник едет с кем-нибудь домой, везя свои гарцы - сборы за помол.

С того колеса уже в темноте еще долго будут капать крупные капли воды, относимые в сторону омутов.

В леску, за ходком, начинают перекликаться ночные птицы, громко квакать лягушки. Сюда же слетаются стаи воробьев и других пернатых, чтобы подобрать за день рассыпанные зёрна, а то и юркнуть в неприкрытую дверь. Мельник никогда не закрывал мельницы, и никто ничего там не трогал.

И вот наступил год 1968. Я первый раз приехал с Дальнего Востока, чтобы посмотреть родные места. От мельницы не осталось и признака. Даже сваи спилили под корень на дрова, узнал, что всех моих сверстников тоже перемолола мельница войны. Село Жарково, где жило богато около тысячи семей, исчезло.

Только буйные травы росли на мягких землях бывших огородов. Бор со столетними лиственницами вырубил для постройки скотных дворов в деревне Нижняя Чуманка, где организовался совхоз за счет исчезнувших сел и поселков. Писали, теперь и той деревни нет.

Река - светлая, рыбная, с омутами, старицами, заводями - превратилась в мутный ручей. Но все же я съездил на место, где когда-то шумела, кружилась, тряслась знаменитая мельница моего детства...



Ирина Метелкина

Родилась она в столице Латвии в семье военнослужащего. Вместе с родителями пришлось немало помотаться по стране, пока не осела после Бабстова в с. Ленинское. Здесь закончила среднюю школу. После окончания Комсомольского-на-Амуре педагогического института вернулась в Ленинское. Преподавала в сельском профтехучилище, в школе, работала в районной газете, заведовала районным краеведческим музеем. Сейчас - спецкорр газеты «Биробиджанская звезда» в Ленинском районе.

...Совсем еще девчонкой прислала в «Биробиджанку» свои первые стихи.

Ее заметили. С той поры прошло немало плодотворных лет. Были три коллективных сборника с ее стихами, вышедшие в разные годы в Хабаровском книжном издательстве, публикации в областных и краевых газетах, в журнале «Дальний Восток».

Ирина была участницей многих семинаров молодых литераторов. Ее заметили, запомнили. Поэт В.Ерошенко пишет: «...В ее стихах - свободное дыхание, легкость, музыкальность фразы!».

В творчестве поэтессы есть и острые чувства - незабываемая любовь к маленькой своей родине, и самое сокровенное женское, и радость от находок, и горечь от потерь, и очень-очень много о природе. «Я пишу о любви, - говорит Ирина Николаевна. - Ею только держжусь и живу. И всем желаю добра, тепла, любви и счастья».



МОЕ СЕЛО

Мое село - моя любовь, не отрекаюсь.
 Мой переулочек, узкий, маленький и тихий,
 Но каждый раз, как уезжаю, сердце стиснет,
 И каждый раз, как возвращаюсь, отпускает.
 Мое село - мой дом, надежда и опора.
 Из дальних далей через дождь, и снег, и ветер
 Окно мое, как тот маяк, зовет и светит.
 И значит - день мой будет счастьем наполнен.
 И значит - быть нам вместе,
 Как зерну в колосьях,
 Как вместе, рядышком с метой, земли полоска,
 Как поле с пахарем,
 Словам, стихам и песням,
 Огню и ночи, так селу и мне быть вместе!

Ночь

Появилась,
Синьку в небе пролила.
Поленилась,
Лишь одну звезду зажгла.
Подошла,
К окну приблизила чело,
Поманила
За калитку, за село.

Ну, вот и петухи!
Стекает ночь по стеклам,
И от щеки ладонь, намаявшись, бежит.
Ах, только бы рассвет,
Луч солнца первый только б!
И можно снова ждать,
Смеяться,
Плакать -
Жить!

У этих речек простеньких,
У этих сопок, сосенок.
Мне горевалось осенью,
Но падали снега.
Под снегом спела ягода.
Алела, зрела яркая.
И было так неясно все -
Так начиналась я.
Дела вершились правые,
Не ведала, не спрашивала.
Я восемнадцать праздновала,
Кружась и хохоча.
Ах, я - смешная дурочка!
Не все сбылось, как думалось.
Навстречу ветры дули мне,
Дорога вдаль вела.
Была дорога долгая,
И все вокруг да около.
И мама горько охала...
Так начиналась я.

Неведомо, но есть село вдали,
Там по ночам калитка тихо хлопает,
Весной спадает голубыми хлопьями
Черемуха до голубой земли.

Там холодна трава на берегу,
Ногам босым и весело, и колется.
Я знаю, снова новенькие колышки
Привязывают к саженцам в саду.
А в поле запах дыма и травы,
И землю лемех с корнем выворачивает,
А летом, вслед за солнцем поворачиваясь,
Подсолнуху не вскинуть головы.
Неведомо, но есть село вдали.
Оно мое с рожденья и до смерти.
И я иду к нему, вот так же к свету
Идут всю ночь усталость утолить.

Мне странным тогда показался
Его насмешливый взгляд.
Ну почему он смеялся
И всегда - невпопад.
Как неожиданно нежность
Мелькнула в его глазах.
А я старалась небрежнее
«Здравствуй» ему сказать.
И проходила мимо,
Не глядя и не дыша.
И не сказала: «Милый»...
Вот и болит душа.

А я в далеком городе
Хожу и слезы лью.
За что мне это горе —
Я тебя люблю!
На что мне эта радость
Забывая!
Радость, как рана
Открытая.
Ты мой неожиданный!
В сердце нежность злая.
Как теперь жить-то мне
Без тебя — не знаю.

Со мной с утра не расставался Дождь

Б.АХМАДУЛИНА

С утра явился Дождь оплакивать разлуку,
Надеясь, что раздумал ты уезжать.
И что ж! Ты уезжал, любимый,
Беспечно восходило,
Сияло предо мною смуглое лицо,

Глаза струили весело зеленое диво,
 Темнело на мизинце мое кольцо.
 И Дождь сдержан не мог
 Нахлынувшего чувства:
 Он был мне другом чутким.
 Сочувствия поток струился, падал, лился.
 Дождь хлопотал напрасно,
 Я не сказала: "Милый, уедешь, мне нет житья.
 И на твою улыбку свою дарила щедро,
 Дождь моего поступка не мог не осудить.
 Прощальное: «Ну что ж...» Вдали состав растаял.
 И лишь тогда, раскаясь,
 Я так сказала: «Дождь,
 Я — глупости дитя, достойное презренья,
 Неужто ты сумеешь подобное простить!»
 Мне бы пропиться, хлынуть,
 Дождя советам внемля,
 Любимого в разлуку мне бы не отпустить.
 Во времени мы заблудились,
 Беспечно годы перепутали.
 А нынче весело простились
 И пожелали вслед попутного.
 Прости, случайный и украденный,
 И я тебя за все прощаю.
 И даже искренне пораднуюсь
 За ту, которой возвращаю.
 Ведь дождалась! Хоть столько минуло.
 А сколько было-перебыло.
 И отрекаюсь я от милого,
 Чтобы дождавшейся хватило
 Всего того, что мне — по горлышко...
 Пей через край и так, и пригоршней.
 Не обессудь, что скоро донышко
 И что напиток горше... горше...
 Постой, не проходи, помедли,
 Заметь в лице моем неброском
 Любви и таинства пометку,
 Печали светлую полоску.
 Все годы, месяцы, минуты —
 Все сроки канули, промчались.
 И все-таки мы разминулись.
 И это факт - увй, печальный!
 Никому не расскажу,
 Никто не узнает,
 За кого молюсь и плачу,
 И кого люблю. Ах, вошел, остановился
 У плеча у левого.
 Боже, как моя щека левая горит!

Татьяна Гурская

Место рождения - село Ленинское. Здесь окончила среднюю школу, затем была учеба в Биробиджанском педагогическом училище. Работала воспитателем детского сада, ПТУ. В настоящее время - в школе-интернате. Замужем. У нее три сына.

Стихи Татьяна Гурская начала писать еще в школе, первые публикации были в газете «Биробиджанская звезда». Регулярно выступает на литературной странице районной газеты «Амурская нива».



Ночь не хотела отступать,
Но росчерком, единым махом
Рассвет по влажным крышам ахнул -
И холод ночи, блеск луны,
что так задумчиво смотрела
в окно мое из глубины,
в рассветном пламени сгорели.
Петух в нарядном оперенье
Пропел горласто свой куплет.
Хозяйка пробует варенье,
И пьется розовый рассвет.

Вот нет тебя, наш старый дом.
И словно бы украли детство,
Как будто укололи сердце
Стальным и жарким острием.
Как чист, как светил новый дом,
Но что-то радость мою портит.
О детстве нам с тобой напомнят
Лишь два ореха под окном.
А старый дом, его хоть нет,
Мне почему-то снится, снится...
Скрипят в том доме половицы,
Струится в окна тихий свет.

Бреду ли я по утренней росе
Или дождинки омыают косы,
Люблю село во всей его красе,
Его тропинки, станы, сенокосы.

Люблю Амура синь и широту,
Луга, что утром омывают росы,
Друзей моих - за верность, доброту,
Сынов моих, в меня светловолосых.
Уеду я. И в дальних даях в снах
Село мое, твое я вижу небо,
И вспоминаю вкус родного хлеба,
И дух цветочный на твоих лугах.

Стихи детям

Нарисую на листочке
Лодку. Поплыву
В лодке маленькой по морю,
Словно наяву.
Я возьму с собою маму,
Пусть садится дед,
Бабушку возьму и папу,
Больше места нет.
Кошку я оставлю дома,
Но она тогда
Не увидит в синем море
Синего кита.
Если места нет, я кошку
На руки возьму:
Очень даже плохо кошку
Оставлять одну.
А еще возьму я краски,
Буду рисовать
Все, что в странствиях увижу,
Чтоб не забывать.

Случайно разбилось стекло,
Случайно упала чашка,
И посадила пятно
Сама по себе промокашка.
Весь день чудеса творятся:
Упало варенье с полки,
И превратилась ваза
В маленькие осколки.
Весь день чудеса творятся,
Что делать подумайте сами:
А может, пойти и признаться
Во всем справедливой маме?

Хроника

**Лауреаты премии мэрии Биробиджана в области
художественного творчества**

1992

В области литературы

ВИКТОРУ СОЛОМАТОВУ - поэту

премия присуждена в области литературы за поэтический сборник
"Складень".

АЛЕКСАНДРУ ВАЛЯЕВУ - художнику

за организаторскую, издательскую деятельность и художественное
оформление сборников поэзии и прозы молодых биробиджанских
авторов.

1993

В области журналистики

**БОРИСУ МАНОЙЛЕНКО (посмертно) - бывшему редактору
газеты «Биробиджанская звезда»**

за цикл экономических статей, опубликованных в «Вестнике
товаропроизводителя» этой газеты.

В области литературы

**РОМАНУ ШОЙХЕТУ (посмертно) - писателю, бывшему
сотруднику газеты «Биробиджанер штерн»**

за роман «Без воды растут лишь камни».

1994

В области журналистики

**НИНЕ ЗИНОВЬЕВОЙ, РАИСЕ ФЕЛЬДМАН - сотрудникам
телерадиокомпании «Бира»**

за цикл телевизионных передач, посвященных 60-летию образования
ЕАО, под рубрикой «Биография».

В области литературы

**МАРИНЕ МИНЧЕНКО, ЮЛИИ БАРДЫШ - научным
сотрудникам областного музея современного
изобразительного искусства**

за литературные материалы, опубликованные в 1994 году в газете
«Ди вох».

ЕФИМУ КУДИШУ - историку-краеведу

за серию плакатов, посвященных участию тружеников области в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

1995**В области журналистики**

**ВАЛЕРИЮ ПАНМАНУ — заместителю ответственного
секретаря редакции газеты «Биробиджанская звезда»**
за создание Книги памяти ЕАО.

1996**В области литературы**

ПАВЛУ АЛЕКСЕЙЧУКУ
за стихи, опубликованные в областных газетах.

**Журналисты - заслуженные работники культуры
Российской Федерации**

АВДОШИНА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА -

заведующая отделом редакции «Биробиджанская звезда». Указ
Президиума ВС РСФСР от 9 ноября 1990г.

КОРЧМИНСКИЙ НАУМ АБРАМОВИЧ -

редактор газеты «Биробиджанер штерн». Указ Президиума ВС
РСФСР от 13 ноября 1990г.

ШЕСТОПАЛОВ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ -

фотокорреспондент газеты «Биробиджанская звезда». Указ
Президиума ВС РСФСР от 13 ноября 1990г.

Лауреаты премии «ФОРТУНА»**В области литературы**

МИХАИЛУ СМОЛЯРЕНКО - пенсионеру -

за рассказы, опубликованные в газетах «Биробиджанер штерн» и «Дивох».

В области журналистики

Алле Макиевской - журналистке

премия присуждена за авторские работы на темы: «Здравоохранение будущего», «Психологические аспекты проблемы нравственного и духовного равновесия в современном обществе».

В области изобразительного искусства

ОЛЕГУ ЧЕРНОВУ - художнику

за персональную выставку «Инь и Янь» (живопись, графика, резьба по дереву).

В области музыки и концертно-исполнительской деятельности

Народному вокальному ансамблю «НЕЖНОСТЬ»

(художественный руководитель И.Натапова)

Давид Вайсерман

за книгу «Биробиджан: мечты и трагедии».

СОДЕРЖАНИЕ

Проза	1
Поэзия	91
Приамурье мое	155
Хроника	172

**Литературное наследие
Еврейской автономной области**

Редактор-составитель
Е.И.Кудиш

Технический редактор
В.П.Хлыбова

Корректор
Ю.Д.Сергеевич

Художники:
В.Романов
В.Козимирчук
В.Цап

Фото на обложке Е.Вепринского

Подписанов печать 04.10.99

Усл.печ.л. 11

Заказ № 1999/92

Сверстано и отпечатано в печатном цехе Биробиджанского
государственного педагогического института

Обложка отпечатана в ООО «Поликом», г.Биробиджан

Как ни бывает жизнь моя светла,
Я вспоминаю с грустью поневоле,
Что Родина дала мне это поле,
Что здесь мой дом,
И там - моя ветла...

Анатолий Кобенков

